

INSPIRIA

МО ЯНЬ

СОРОК  
ОДНА  
ХЛОПУШКА



INSPIRIA

Loft. Нобелевская премия: коллекция

Мо Янь

**Сорок одна хлопущка**

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.581-31  
ББК 84(5Кит)-44

**Янь М.**

Сорок одна хлопושка / М. Янь — «Эксмо», 2021 — (Loft.  
Нобелевская премия: коллекция)

ISBN 978-5-04-156792-7

В городе, где родился и вырос Ля Сяотун, все без ума от мяса. Рассказывая старому монаху, а заодно и нам истории из своей жизни и жизнью других горожан, Ля Сяотун заводит нас все глубже в дебри и тайны диковинного городка. Страус, верблюд, осел, собака — как из рога изобилия сыплются угощения из мяса самых разных животных, а истории становятся все более причудливыми, пугающими и - смешными? Повествователь, сказочник, мифотворец, сатирик, мастер аллюзий и настоящий галлюциногенный реалист... Затейливо переплетая несколько нарративов, Мо Янь исследует самую суть и образ жизни современного Китая. Повествователь, сказочник, мифотворец, сатирик, мастер аллюзий и настоящий галлюциногенный реалист... Все это — Мо Янь, один из величайших писателей современности, знаменитый китайский романист, который в 2012 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. «Сорок одна хлопושка» на русском языке издается впервые и повествует о диковинном китайском городе, в котором все без ума от мяса. Девятнадцатилетний Ля Сяотун рассказывает старому монаху, а заодно и нам, истории из своей жизни и жизнью других горожан, и чем дальше, тем глубже заводит нас в дебри и тайны этого фантазмагорического городка, который на самом деле является лишь аллегорическим отражением современного Китая.

УДК 821.581-31  
ББК 84(5Кит)-44

ISBN 978-5-04-156792-7

© Янь М., 2021

© Эксмо, 2021

## Содержание

Хлопушка первая	7
Хлопушка вторая	14
Хлопушка третья	17
Хлопушка четвертая	22
Хлопушка пятая	25
Хлопушка шестая	27
Хлопушка седьмая	31
Хлопушка восьмая	36
Хлопушка девятая	41
Хлопушка десятая	46
Хлопушка одиннадцатая	48
Хлопушка двенадцатая	56
Хлопушка тринадцатая	65
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# Мо Янь

## Сорок одна хлопущка

*О премудрый монах, любителей прихвастнуть и приврать немало, их рассказы у нас называют «хлопущками». Но то, что рассказываю вам я, – чистая правда.*

Mo Yan

POW!

Copyright © 2021, Mo Yan

All rights reserved

© Егоров И., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

## Хлопущка первая

– Десять лет назад, раннее зимнее утро. Десять лет назад, раннее зимнее утро – что это было за время? Сколько лет тебе было? – спросил, открыв глаза, премудрый монах Лань. Он много бродил по белу свету, где только не побывал. Временным пристанищем ему стал небольшой заброшенный храм. Голос его доносится словно из мрака глубокой пещеры, и я невольно содрогаюсь, хотя на дворе седьмой месяц, жарко и душно.

– Это был тысяча девятьсот девяностый год, наимудрейший, мне было тогда десять лет, – отвечаю я негромким бубнящим голосом, с такой, как обычно, интонацией. Дело происходит в храме Утуна<sup>1</sup>, что стоит между двумя оживленными городишками. Говорят, деньги на его постройку дали предки нашего деревенского старосты, почтенного Ланя. Рядом дорога с оживленным движением, но заходят сюда возжечь благовония редко, как говорится, в воротах можно ставить сети на воробьев, внутри пыль и затхлость. В проеме окружающей храм стены (он словно нарочно здесь проделан) разлеглась на животе женщина в зеленом жакете с красным цветком за ухом. Видно лишь пухлое, как фэньтуань<sup>2</sup>, лицо и белая рука, на которую она опирается подбородком. В лучах солнца кольцо у нее на пальце отбрасывает режущие глаз блики. Глядя на нее, я вспоминаю большой, крытый черепицей дом у нас в деревне, который до освобождения принадлежал крупному помещику из семьи Лань, а потом в нем размещалась начальная школа. По многим преданиям и вызываемой ими игре воображения, такая женщина в третью стражу после полуночи обычно входит в этот ветхий, годами не знавший ремонта дом и выходит из него с громким воплем, от которого аж мороз по коже. Мудрейший восседает с прямой спиной и безмятежным выражением лица, как у дремлющей лошади, на ветхом круглом молитвенном коврикe перед полуосыпавшимся от времени изваянием Утуна. В руках у него алые четки, его кашья<sup>3</sup> из разноцветных лоскутов, кажется, сшита из промокшей под дождем тонкой бумаги и может в любой момент распасться на кусочки. На ушах мудрейшего полно мух, однако на выбритой до блеска голове и лоснящемся лице нет ни одной. Во дворе растет большое дерево гинкго<sup>4</sup>, из ветвей которого доносится птичий щебет, иногда перебиваемый кошачьим мяуканьем. Это пара диких котов – он и она, – дремавшие в дупле, принимают ловить сидящих на ветках птиц. До храма доносится довольный кошачий вопль, за ним – жалобное птичье чириканье, а потом – хлопанье крыльев разлетевшейся в испуге стаи. Не то чтобы я почувствовал запах крови, скорее подумал о нем; и птиц, разлетевшихся кто куда, и кровь, замаравшую ветви, я не видел – лишь представил. А в этот момент кот, зажав истекающую кровью добычу в лапах, заигрывал с бесхвостой кошкой. Из-за отсутствия хвоста она на треть смотрелась как кошка, а в остальном походила на жирного кролика. Ответив мудрейшему, жду дальнейших вопросов, но не успеваю договорить, как глаза у него закрываются, и от этого даже возникает ощущение, что недавно заданный вопрос мне лишь почудился, что раскрытые в тот миг глаза мудрейшего и его вдохновенный взгляд – лишь плод моей фантазии. Глаза его полуоткрыты, из ноздрей примерно на цунь<sup>5</sup> торчат два пучка черных волос, они чуть подрагивают, как хвост сверчка. Я смотрю на эти волоски и вспоминаю, как десять с лишним лет назад староста нашей деревни Лао Лань на удивление маленькими ножницами подстригал себе волосы в носу. Почтенный Лань – потомок рода Ланей, среди его предков было

---

<sup>1</sup> Утун – бог богатства, также злой дух блуда и разврата.

<sup>2</sup> Фэньтуани – жареные шарики из клейкой рисовой муки со сладкой начинкой, обсыпанные кунжутom.

<sup>3</sup> Кашья – одеяние буддийского монаха.

<sup>4</sup> Гинкго – реликтовое листопадное дерево высотой до 40 метров. Широко используется в китайской народной медицине.

<sup>5</sup> Наименьшая единица в традиционной китайской системе измерения расстояний.

немало выдающихся деятелей. При династии Мин один вышел в цзюйжэни<sup>6</sup>. При Цинах был членом академии Ханьлинь<sup>7</sup>. Во времена Республики был и генерал. А после Освобождения выявилась целая группа выступавших против революции помещичьих элементов. После того как перестали вести классовую борьбу, немногие из оставшихся отпрысков рода Лань малопомалу распрямляли спины, вот почтенный Лань, продолжатель рода, стал у нас в деревне старостой. Я в детстве не раз слышал, как почтенный Лань горестно вздыхал: «Эх, с каждым поколением все хуже и хуже!» Слышал я, и как сетовал деревенский грамотей старина Мэн: «Эх, чем дальше, тем хуже. Не заладился фэншуй семьи Лань». Старина Мэн в молодые годы пас скотину этой семьи и знал, в какой роскоши они тогда жили. «Ты, мать твою, и волоска предков не стоишь!» – говаривал он, бывало, тыча пальцем в спину Лао Ланя. Частичка пепла, похожая на тополиный пух ранней весной, плавно опустилась из сумрака храма на бритую голову мудрейшего. Потом еще одна, словно родная сестричка первой, тоже похожая на тополиную пушинку весной, источая слабое дыхание времени, словно тайно заигрывая, плавно опустилась на его голову. Из-за двенадцати ярко выделяющихся и расположенных в строгом порядке шрамов она смотрелась очень величественно. Такие метки составляли гордость настоящего монаха, так что когда-нибудь на моей голове тоже будет двенадцать таких шрамов<sup>8</sup>. Мудрейший, прошу выслушать мой дальнейший рассказ...

В нашем высоком доме с черепичной крышей мрачно и влажно на стенах красивым узором лежит иней, он выступает крупинками мелкой соли даже там, куда поднимается во сне мое дыхание. Мы переселились сюда в начале зимы<sup>9</sup>, сразу как возвели кровлю, еще штукатурка не высохла. Мать вставала, а я с головой закутывался одеялом, чтобы укрыться от холода, режущего, словно лезвие ножа. С тех пор, как отец сбежал с Дикой Мулихой, мать прикладывала все силы, завела дело и через пять лет, которые пролетели как один день, трудом и смекалкой накопила денег и возвела дом с черепичной крышей – самый высокий, самый большой и самый внушительный в деревне. Когда речь заходила о матери, все деревенские отзывались о ней с почтением, расхваливали на все лады, говорили, какая она молодец, но при этом никогда не забывали пройтись насчет отца. Мне было пять лет, когда он спутался с женщиной по прозвищу Дикая Мулиха, имевшей в деревне недобрую славу, и сбежал с ней неизвестно куда.

– Во всем благое предопределение, – пробормотал мудрейший словно во сне, как бы показывая, что он внимательно слушает мой рассказ, хоть глаза его и закрыты.

Женщина в зеленом жакете с красным цветком за ухом так и лежит в проеме стены. Она меня завораживает, но не знаю, понимает ли она это. Дикий котик с птичкой изумрудного цвета в зубах проходит перед воротами храма, как охотник на тигра, красуется со своей добычей перед толпой. Подойдя к воротам, он на минуту останавливается и, склонив голову, заглядывает в них; выражение его морды – как у любопытного школьника...

Прошло пять лет, подлинных известий не было, а вот слухи об отце и Дикой Мулихе время от времени прибывали, как тихоходные составы на маленькую железнодорожную станцию, где скотину выгружают, и затем желтоглазые барышники неспешно гонят ее в нашу деревню. Там они продают ее мясникам – наша деревня специализировалась на забое скота – слухи порхали над деревней, как серые птички. Говорили, что отец утащил Дикую Мулиху в глухие леса северо-востока, построил хижину из березовых стволов, возвел большую печку, в которой весело полыхали сосновые дрова, крыша хижины покрыта снегом, на стенах развешаны связки красного перца, со стрех свешиваются хрустальные сосульки. Днем они охоти-

<sup>6</sup> Цзюйжэнь – обладатель второй ученой степени по итогам экзамена на замещение должности чиновника.

<sup>7</sup> Академия Ханьлинь – учреждение, выполнявшее функции императорской канцелярии, комитета по цензуре и литературе, высшей школы.

<sup>8</sup> Голову буддистским монахам прижигают при инициации.

<sup>9</sup> Начало зимы – один из 24 сезонов сельскохозяйственного года по лунному календарю, начинается 7–8 ноября.

лись и копали женьшень, вечерами варили в печке мясо косуль. Я представлял себе, как багровые блики пламени ложатся на лица отца и Дикой Мулихи, будто размалеванные красным. По другим слухам, отец с Дикой Мулихой сбежал аж во Внутреннюю Монголию, днем разъезжал на рослом скакуне, накинув просторный монгольский халат, распевая мелодичные пастушеские песни и озирая стада коров и овец на бескрайних степных просторах; вечером забирался в юрту, разжигал костер из кизяков, подвешивал над ним железный котел, варил в нем баранину, мясной аромат щекочет ноздри, они едят мясо и пьют крепчайший чай с молоком. В моем воображении глаза Дикой Мулихи поблескивают в свете костра словно два черных самоцвета. Рассказывали также, что они тайком перебрались через границу в Корею и в одном красивом приграничном городке открыли ресторан. Днем лепили пельмени и раскатывали тесто для лапши корейцам, а к вечеру, когда ресторан закрывался, варили котел собачатины, открывали бутылку водки, каждый с собачьей ногой в руке, два человека – две собачьих ноги, в котле оставалось еще две, которые, распространяя соблазнительный аромат, ждали своей очереди. Я представлял себе, как они сидят каждый с собачьей ногой в руке, чашкой водки в другой, глоток за глотком попивают водку и закусывают собачатиной, и набитые щеки выпирают, как блестящие от жира кожаные мешочки... Думаю, наевшись и напившись, они, конечно, заключали друг друга в объятия и занимались этим делом – глаза мудрейшего сверкнули, уголки рта дернулись, он вдруг громко хохотнул, потом неожиданно умолк: так от яростного удара колотушки по поверхности гонга дрожит в воздухе переливами громкий и чистый звук. Сердце мое затрепетало, в глазах зарябило. Было непонятно, дает ли он этим странным смешком знак продолжать или велит остановиться. «Нужно быть честным перед людьми, – подумал я, – тем более нужно говорить все без утайки перед лицом мудрейшего». Женщина в зеленом так и лежала там все в той же позе, лишь вдобавок забавлялась тем, что пускала слюну. Она напускала одну за другой маленькие лужицы слюны, покачиваясь, слюна разлеталась в солнечном свете, а я пытался представить, каковы эти лужицы на вкус – скажем —

Прижавшись друг к другу измазанными в масле губами, да еще безостановочно рыгая, они распространяют запах мяса по юрте, по маленькой лесной хижине, по маленькому корейскому ресторанчику. Потом помогают друг другу снять одежду, оголив тела. Тело отца я хорошо знаю – летом он часто носил меня на реку купаться, а тетю Дикую Мулиху видел только раз, да и то мельком. Но успел разглядеть как следует. Ее тело, с виду гладкое, сочно-зеленое, поблескивало при свете фонаря. Даже мои руки, руки маленького мальчика, тянулись к ней – попытаться погладить, если она не отвесит тумака, конечно, погладил бы как следует. Какое, интересно, при этом ощущение? Обжигающего холода или пышущего жара? Правда, хотелось знать, но я не знаю. Я не знаю, отец знает. Его руки тут же принялись гладить тело Дикой Мулихи, гладить ее зад, груди. Руки отца смуглые, а зад и груди тети Дикой Мулихи – белые, поэтому руки отца казались мне жестокими, разбойничьими, они будто воду из зады и грудей тети Дикой Мулихи выжимали. Тетя Дикая Мулиха постанывала, ее глаза и губы сверкали, глаза и губы отца тоже. Заключив друг друга в объятия, они катались по тюфяку из медвежьей шкуры, кувыркались на горячем кане, «пекли блины» на деревянном полу. Поглаживали друг друга руками, покусывали губами, переплетались ногами, терлись друг о друга каждым дюймоном кожи... Терлись жарко, электризованно, тела стали светиться чем-то темно-синим, они сплелись как две большие ядовитые змеи, сверкающие чешуйками. Отец, закрыв глаза, не издавал ни звука, доносилось лишь его хриплое дыхание, а тетя Дикая Мулиха разнузданно орала. Теперь я, конечно, знаю, почему, а тогда я был сравнительно беспорочный, не разбирался в отношениях между мужчинами и женщинами, не понимал, что за представление отец с тетей Дикой Мулихой устроили.

– Братец любимый... – доносились хриплые вопли тети Дикой Мулихи. – Ой, умру через тебя... Ой, умру...

Сердце мое бешено колотилось, я не понимал, что будет дальше. В душе я не боялся, но все же был напряжен и взволнован, словно отец с тетей Дикой Мулихой, а в том числе и я, сторонний наблюдатель, совершали преступное деяние. Я видел, как отец опустил голову и накрыл своим ртом губы тети Дикой Мулихи и, таким образом, поглотил почти все ее вопли. Через уголки его губ проскальзывали лишь некоторые незначительные фрагменты звуков – я украдкой глянул на наимудрейшего, желая понять, какую реакцию может вызвать в нем мое подробное описание секса. Он оставался невозмутимым, лицо вроде бы чуть порозовело, а вроде таким и было с самого начала. Я подумал, что следует вовремя остановиться, хоть я уже и постиг мирскую суету и повествую об отце и матери, словно они жили в глубокой древности.

Не знаю, то ли запах мяса их привлек, то ли крики отца и тети Дикой Мулихи – из темноты высыпала целая ватага детей, они собрались вокруг монгольской юрты, пробрались к дверям маленькой лесной хижины и, задрав зады, стали заглядывать через щели внутрь. Потом я представил, что появился волк, да не один, а целая стая – на запах мяса, что ли? С появлением волков дети разбежались. Их маленькие неуклюжие силуэты вперевалку устремились по снегу, а позади оставались отчетливые следы. Волки уселись рядом с юртой отца и тети Дикой Мулихи и жадно щелкали зубами. Я переживал, что они распоросуют эту юрту, прогрызут тонкий слой дерева, ворвутся туда и сожрут их обоих, но у волков такого и в мыслях не было. Они восседали вокруг монгольской юрты и маленькой деревянной хижины словно свора преданных охотничьих собак... За ветхой стеной, окружающей дворик храма, пролегает широкая дорога в бранный мир, туда, за обвалившийся от воздействия стихий и ног праздношатающихся провал в стене, за разлегшуюся в этом провале женщину – в тот момент она расчесывала густые волосы, положив красный цветок рядом на стену. Склонив шею, она раз за разом с силой проводила по волосам перед грудью красным гребнем. Прodelывала она это чуть ли не отчаянными движениями, и сердце мое всякий раз сжималось, я переживал за эти красивые волосы, в носу свербило, почти наворачивались слезы. «Вот бы она могла позволить мне расчесать ее, – думал я, – я бы делал это самым нежным, самым терпеливым образом, ни один волосок у меня не поранился бы и не сломался, даже если в волосах у нее полно жуков и пауков, даже если там свили гнезда и вывели птенцов пичуги малые». Я вроде бы увидел на ее лице выражение какой-то досады, у большинства женщин с пышными волосами такое выражение, когда они расчесываются. Это не то чтобы досада, скорее гордость. Затаившийся где-то в глубине волос тяжелый запах теперь, без всякого сомнения, бил в нос, отчего голова кружилась, словно напился тягучего выдержанного шаосинского<sup>10</sup>. Было видно, что проезжает мимо по дороге. Перед глазами, словно движущееся гигантское живописное полотно, проскользнул с высоко воздетой стальной рукой кирпично-красный кран. В поле зрения один за другим проплывают двадцать четыре орудийных ствола, поблескивающих мертвенно-бледным цветом и по форме напоминающих черепахоподобные танки. Подпрыгивая, приблизился небольшой, окрашенный в синий цвет пассажирско-грузовой прицеп: на крыше установлен громкоговоритель, по всему кузову расставлены разноцветные флаги, они колышутся, и на них то появляются, то исчезают большие белые изображения женских лиц с тонкими изгибами бровей и сочно-красными губами. На прицепе стоят с десяток человек в синих футболках и бейсболках, которые хором скандируют: «Народный депутат Ван Дэхоу: только работа, никаких шоу». Но перед храмом их крики вдруг стихают, и разукрашенный прицеп, который теперь смахивает на нарядный гроб, скрывается с моих глаз. Но за стеной в стороне от дороги, на большой лужайке как раз напротив полуразвалившегося храма Утуна непрерывно грохочет большущий экскаватор. Над стеной вокруг храма виднеются его верхняя часть оранжевого цвета и время от времени вздымающаяся вверх стальная рука с хищным ковшом.

<sup>10</sup> Шаосинское – популярное желтое рисовое вино из уезда Шаосин.

Я вам все говорю, не таясь, мудрейший, нет такого, что я не могу вам сказать. В то время я был бесхитростный подросток, который только и думал о том, чтобы поесть мяса. Дай мне кто ароматную жареную баранью ногу или чашку истекающей жиром свинины, я бы его, не задумываясь, отцом родным назвал, или на коленях поклоны отбивал, или то и другое вместе. Сейчас, хотя все переменялось, если окажетесь в наших местах, стоит лишь упомянуть мое имя – Ло Сяотун, – глаза людей тут же вспыхивают необычным светом, как при упоминании имени Лань Дагуаня, третьего дядюшки Лао Ланя. Почему они так вспыхивают? Потому что в головах людей, словно в книжке-картинке, раскладывались дела прошедших дней, связанные со мной, связанные с мясом. Потому что в головах складной книжкой-картинкой разворачивались сказания, связанные с третьим молодым господином семьи Лань, бедствовавшим на чужбине, переспавшим с тридцатью тысячами девиц, много чего испытывавшим. Говорить они особо ничего не говорили, лишь восклицали: «Ах, этот милый, жалкий, ненавистный, достойный уважения, гадкий... Но ведь он, в конце концов, лишь необычный мальчик, помешавшийся на мясе... Эх, этот третий молодой господин Лань, вот уж не разберешь, каков он, представить невозможно... Вот уж великий смутьян, князь демонов в человеческом образе...»

Случись мне вырасти в какой другой деревне, у меня, может, и не выработалась бы такая неумная страсть к мясу, но небесам угодно было, чтобы я вырос в деревне мясников, где куда ни глянь – везде мясо: живое, способное ходить, и лежащее, неспособное ходить, мясо, истекающее свежей кровью и начисто промытое, обработанное серой и необработанное, подержанное в воде и не подержанное, замоченное в формалине и не замоченное, свинина, говядина, баранина, собачатина, а еще ослятина, конина, верблюжатина... Бродячие собаки в нашей деревне так отъедались на мясных отбросах, что у них шерсть сочилась жиром, мне же мяса не доставалось, поэтому я был худой как щепка. Пять лет мне не доставалось мяса не потому, что мы не могли его себе позволить, а из-за бережливости матери. До того, как отец сбежал, на стенках нашего котла всегда налипал толстый слой жира, а в углу, куда бросали кости, выростала целая гора из них. Отец мясо любил, а больше всего – свиные головы, и через каждые несколько дней приносил их домой – с бледными щеками и ярко-красными кончиками ушей. Из-за этих свиных голов мать ссорилась с ним, не знаю, сколько раз, даже до драки доходило. Мать, дочь крестьянина-середняка, с детства была приучена к рачительному ведению хозяйства, к тому, чтобы жить по средствам и копить на дом и участок земли. После земельной реформы этот мой упрямый дед по матери наконец откопал свои многолетние сбережения и купил у начавшего новую жизнь батрака Сунь Гуя пять му<sup>11</sup> земли. Эти беспримерно впустую потраченные деньги на несколько десятилетий стали позором для семьи матери, а дед, который пошел наперекор течению истории, стал предметом насмешек для всей деревни. Отец происходил из люмпен-пролетариев и с малых лет перенял у бездельника деда по отцу вольный характер обжоры и лентяя. В жизни он руководствовался одним неизменным правилом: сегодня сыт, а о дне завтрашнем не беспокойся, живи как живется, лови миг удовольствия. Отец усвоил урок истории и не забывал судьбы моего деда, поэтому никогда не тратил из одного юаня лишь девять мао<sup>12</sup>, спать не мог спокойно, зная, что в кармане есть деньги. «Все в этом мире – пустое, – часто наставлял он мать, – реально только мясо у тебя в желудке». «Купишь новую одежду, – говорил он, – с тебя ее могут содрать; построишь дом, так через пару десятилетий можешь стать объектом классовой борьбы: в доме семьи Лань столько комнат, а не устроить ли в нем школу? Храм предков семьи Лань вон какой роскошный, так разве не устроила в нем производственная бригада<sup>13</sup> цех обработки бататов и производства лапши? Коли обращаешь деньги в золото

<sup>11</sup> Му – мера площади,  $\frac{1}{15}$  га.

<sup>12</sup> Мао – десятая часть юаня, гривенник.

<sup>13</sup> Производственная бригада – часть народной коммуны, высшей административной единицы с политическими и экономическими функциями в сельских районах Китая с 1958 по 1985 год.

и серебро, можешь на этом и жизни лишиться; а если покупать мясо и отправлять в живот, все будет в полном порядке». Мать возражала, мол, мясоедам после смерти не бывать в раю, а отец отшучивался: с мясом в брюхе и в свинячем хлеву рай. Если в раю нет мяса, ему туда и не надо, пусть хоть сам Нефритовый император<sup>14</sup> за ним явится. Я тогда был мал и на перепалки родителей не обращал внимания, они ругаются, а я мясо ем, наемся досыта, устроюсь в уголке и знай похрапываю, словно та бесхвостая кошка во дворе, что живет в свое удовольствие. После ухода отца мать, чтобы построить этот пятикомнатный дом с черепичной крышей, довела экономию до такой степени, что и во рту было пусто, и в нужник сходить нечем. Я надеялся, что после постройки дома мать станет кормить получше и давно не виданное мясо вновь появится у нас на столе. Кто ж знал, что ее бережливость ничуть не уменьшится, а станет больше, чем прежде. Мне было известно, что в душе мать вынашивает еще более грандиозный план: приобрести большой грузовик, такой, как у первых богатеев деревни – семьи Лань: производства Первого автомобильного завода в Чаньчуне, марки «Освобождение», цвета хаки, с шестью огромными колесами, квадратной кабиной, крепкий как сталь, ну что твой танк. Я предпочел бы жить в прежнем низеньком шалаше из трех комнат, было бы лишь мясо на столе, лучше ездить по грунтовым сельским дорогам на ручном мотоблоке, который всю душу вытрясет, но есть мясо. Шла бы она со своим домом с черепичной крышей, со своим грузовиком! Кому нужна такая жизнь, когда тешится тщеславие, а в животе ни капли жира! Чем больше недовольства матерью накапливалось в душе, тем пуще я тосковал по счастливым дням, когда отец был с нами, ведь для меня, жадного до еды ребенка, счастье в жизни в основном заключалось в том, чтобы наестся от пуза мяса, было бы только мясо на столе, а скандалят мать с отцом или даже дерутся – какое это имеет значение? За пять лет до моих ушей дошло больше двухсот слухов про отца и Дикую Мулиху. Но в голове постоянно вертелись лишь три, и я раз за разом возвращался к ним, обсасывая как деликатес: это как раз те, о которых рассказывалось выше, и каждый связан с поеданием мяса. Всякий раз, когда такая картина вырисовывалась у меня перед глазами, как живая, я чуял соблазнительный мясной аромат, в животе начинало урчать, изо рта непроизвольно начинала течь прозрачная слюна. И всегда при этом глаза были полны слез. Деревенские нередко видели, как я сижу один под большой ивой на околице и плачу. Вздохнув, они проходили мимо, и некоторые еще приговаривали: «Эх, бедный парнишка!» Я понимал, что они неправильно толкуют мои слезы, но исправить ничего не мог, даже скажи я им, что плачу потому, что мяса хочется, они все равно не поверили бы. Такое в голове не укладывается: мальчик до того жаждет мяса, что слезы в два ручья!

Издалека донесся глухой раскат грома, словно вот-вот налетит кавалерийский отряд. В сумеречный храм залетело несколько птичьих перьев, пахнувших кровью, они покружились передо мной, как обиженные дети, а потом прилипли к изваянию бога Утуна. Увидев их, я вспомнил о смертоубийстве на большом дереве и понял, что поднялся ветер. В нем смешались гниль земли и запах растений, в духоте храма на какое-то время стало попрохладнее, нападало еще больше пепла, он собирался на плешивой голове мудрейшего, опускался на мух, облепивших его уши, но мухи даже не шелохнулись. Я внимательно разглядывал их несколько секунд и обнаружил, что они тонкими ножками прочищают блестящие глаза. Надо же, твари с такой дурной славой, а вон какие выкрутасы выделывают! «Наверное, из всех животных только они и умеют так изящно протирать глаза ногами», – размышлял я. Большой гинкго во дворе, который с виду и не шевельнулся, стал поскрипывать, ветер задул не на шутку, запах гнили, который он нес, стал еще гуще, в нем присутствовал не только гнилой дух земли, но и зловоние разлагающихся трупов животных, а также затхлая вонь тины с пруда. Скоро быть дождю. Нынче седьмой день седьмого лунного месяца, день, когда, по легенде, встречаются разделенные Небесной рекой Пастух и Ткачиха. Любящие супруги в самом расцвете молодости, обре-

<sup>14</sup> Нефритовый император – верховное божество даосского пантеона.

ченные видятся раз в год в течение всего трех дней – какая это, должно быть, мука! Даже новобрачным не сравниться по силе страсти с теми, кто был в долгой разлуке, им так и хочется все три дня не отрываться друг от друга – в детстве я часто слышал, как деревенские женщины так рассуждали, – слез за эти три дня проливается немало, потому в это время непременно идет дождь. Даже в трехлетнюю засуху седьмой день седьмого месяца не бывает забыт. Темноту храма ярко – до малейших деталей – освещает белая вспышка молнии. От похотливой улыбочки на лице одного из пяти воплощений Утуна – Духа Лошади – я исполняюсь трепета. С человеческой головой и телом коня, он немного смахивает на эмблему того знаменитого французского вина. С балки над ним свешивается целая гирлянда безмятежно спящих летучих мышей. Глухие погромыхивания приближаются, будто где-то вдалеке одновременно проворачиваются несколько сотен каменных жерновов. Следом еще одна ослепительная вспышка и оглушительные раскаты грома. Со двора врывается запах гари. Меня охватывает нервная дрожь, так и хочется вскочить. А мудрейший продолжает сидеть, не обращая ни на что внимания. На улице громыхает еще сильнее, раскаты следуют один за другим, дождь полил как из ведра, косые капли залетают вовнутрь. Такое впечатление, что по двору катаются зеленоватые огненные шары, а из разверстых небес высовывается огромная лапа с острыми когтями и нависает над входом, горя желанием в любой момент проникнуть в храм, заграбастать меня – конечно же, меня, умертвить и повесить на большом дереве, а на спине выцарапать головастиковым письмом для тех, кто сведущ в священных письменах, все мои преступления. Инстинктивно я перемещаюсь за мудрейшего. Укрывшись за ним, вдруг вспоминаю о той красотке, что расчесывалась, разлегшись в проеме стены. Ее уже и след простыл, там лишь ливень, размывающий провал, и несколько вычесанных ею волос, которые уносит дождевой поток, и от воды во дворе начинает разноситься густой аромат османтуса... Тут раздается голос мудрейшего:

– Говори.

## Хлопушка вторая

Выбивая зубами дробь, продолжаю рассказ. Ну и холодина! Закутавшись с головой, я съезился под одеялом, тепло от кана<sup>15</sup> давно уже рассеялось, тоненький матрас почти не защищает от проникающего снизу, от цементной поверхности кана, холода, я боюсь пошевелиться, мечтая о том, как здорово было бы превратиться в завернутую в кокон куколку шелковичного червя. Через одеяло слышно, как мать в гостиной разжигает печь, яростными ударами колет топором дрова, словно вымещая при этом ненависть к отцу и Дикой Мулихе. Быстрее бы растопила печку, только когда в ней весело заполыхает огонь, можно изгнать из комнаты холод и сырость; в то же время я надеялся, что процесс растопки затянется как можно дольше, потому что, затопив печь, она первым делом выгонит меня из кровати самым бесцеремонным образом. Первый раз она кричит: «Вставай!» еще довольно ласково; на второй это звучит тоном повыше, и уже явно проскальзывает отвращение; на третий это почти яростный рев. Четвертого раза уже не случилось, потому что, если после третьего «вставай!» я не выскакивал пулей из-под одеяла, она очень проворным движением сдирала его с меня, мимоходом хватала веник, которым подметала кан, и начинала яростно охаживать меня по попе. Когда доходило до такого, плохи были мои дела. Если при первом ударе я инстинктивно вскакивал и перепрыгивал на подоконник или забивался в угол кана, злость в ее душе не получала выхода, и она могла в заляпанных грязью тапках забраться на кан, ухватить меня за волосы или за шею, чтобы нагнуть и отходить по заднице бесчисленное число раз. Если я не пускался наутек и не сопротивлялся, когда она меня лупила, она могла тут же распалиться от такого недостойного поведения, и тогда удары сыпались с еще большей силой. Тут уж было неважно, как все складывалось, главное, если до того, как раздавалось ее третье «вставай» – уже не крик, а рык, я стремительно не вскакивал, и моей попе, и этой ершистой метле приходилось туго. Обычно, охаживая меня, мать тяжело дышала, взрыкивала, а когда начинала рычать по-настоящему, как хищный зверь – ярость чувств, но никакого словесного сопровождения, – после того, как веник опустился на мою попу раз тридцать с лишним, сила в руке заметно ослабевала, рычала она уже хрипло и глухо. Вот тогда среди рычания начинали появляться слова. Сначала они были про меня – и «дворняга беспородная», и «черепашье отродье», и «сосунок заячий», – потом, сама того не замечая, она обрушивалась на отца. Много времени она на него не тратила, потому что ругала его и меня примерно одинаково, в основном никаких открытий и нововведений, без огонька, даже на слух ее ругань казалась скучной и пресной. И как мы по дороге в уездный город всегда проезжали ту маленькую железнодорожную станцию – проезжали быстро, но миновать ее было нельзя, – так и мать, ругая отца, не могла не помянуть Дикую Мулиху. Брызжа слюной, она слегка проезжалась по репутации отца, а потом наступал черед Дикой Мулихи. Голос матери становился громче, в пламени гнева высыхали слезы, застилавшие глаза, когда она ругала нас с отцом. Если кому непонятен смысл выражения «когда встречаются два врага, глаза их особо ясны», прошу к нам домой, гляньте на глаза матушки, когда она честит на все корки Дикую Мулиху. Ругая нас с отцом, она повторяется, делает это как-то бестолково, да и слов – раз, два и обчелся. Когда же дело доходит до Дикой Мулихи, речь ее сразу становится многообразной и красочной. «Мой муж что племенной жеребец, заездит тебя, Дикая Мулиха, до смерти», «мой муж огромный слонище, проткнет тебя насквозь, сучку этакую», – так она в основном выражалась. Классическую брань она переиначивала и так, и этак, но смысл, несмотря на все многообразие, был один. Отец, по сути дела, превращался у матери в совершенное орудие мести и расплаты за ее обиды, он постоянно становился у нее громадным, ни с чем не сравнимым животным, которое грубо насиловало Дикую Мулиху, тварь крошечную и слабую, словно

---

<sup>15</sup> Кан – традиционная отапливаемая лежанка в домах северного Китая.

лишь таким образом можно было излить всю ненависть, накопившуюся в душе. Когда высоко вздетый инструмент отца наносил оскорбления Дикой Мулихе, частота ударов по моей попе постепенно уменьшалась, рука матери тоже понемногу слабела, а потом она и вовсе забывала про меня. В этот момент я потихоньку поднимался, одевался, отходил в сторонку и увлеченно слушал ее забористую брань, а в голове вертелось множество вопросов. Мне казалось, что меня мать поносила совсем бессмысленно. Если я – «дворняга беспородная», то с кем, спрашивается, скрестилась собака? Если я – «черепашье отродье», кто тогда меня выродил? Если я – «сосунок заячий», кто тогда зайчиха? Вроде бы ругает меня, а на самом деле – себя. Ругает отца, а в действительности – опять себя. То, как она Дикую Мулиху честит, если подумать как следует, снова полная бессмыслица. Отцу, как ни крути, никак в слона не обратиться, тем более в племенного жеребца, а раз в слона не обратиться, то и с сучкой не спариться. У домашнего жеребца может быть случка с дикой мулихой, а вот для нее такая приятность как раз вряд ли осуществима. Но высказывать свои размышления матери я не смею, даже представить не могу, к каким последствиям это привело бы, но меня точно ничего хорошего не ждет, это вне всякого сомнения, а я не такой дурак, чтобы искать неприятности на свою голову. Устав ругаться, мать начинала плакать, слезы ее текли ручьем. Наплакавшись, она утирала слезы рукавом, выходила вместе со мной во двор, чтобы немного подзаработать. Словно чтобы возместить время, потраченное на побои и ругань, она делала все раза в два быстрее, чем обычно, и за мной следила гораздо строже. Поэтому я никак не мог испытывать привязанности к этой ничуть не теплой постели, и стоило мне услышать, как начинают гудеть в печи языки пламени, матери не нужно было даже рот раскрывать, я уже автоматически вскакивал, мгновенно натягивал куртку и штаны на вате, стылые как стальные доспехи, сворачивал одеяло, бежал в нужник по малой нужде и, вернувшись, вставал навтыжку у двери в ожидании материных распоряжений. До какой ведь скарденности она дошла в этой своей бережливости, печку-то надо иногда топить в доме? А то ведь из-за сырости у нас с матерью и болячки одинаковые развились, колени воспалились и опухли, ноги онемели, сколько пришлось потратить на лекарства, прежде чем смогли встать на ноги и ходить, доктор предупредил, что, если на тот свет не хотим, нужно в доме печку топить, чтобы стены как можно быстрее высыхали, мол, лекарства гораздо дороже угля. Раз такое дело, матери, хочешь не хочешь, пришлось взяться за дело и устроить в помещении печку. Она купила тонну угля на железнодорожной станции и протопила наше новое жилье. Я так надеялся, что доктор скажет матери: если не хотите помереть, нужно есть мясо. Но он этого не сказал. Этот подлец доктор не только не стал убеждать нас есть мясо, но еще и принялся отговаривать от жирной пищи, чтобы мы старались есть постное, лучше всего вегетарианскую пищу, это, мол, принесет нам здоровье и долголетие. Этот паршивец и понятия не имел, что после того, как отец сбежал, мы и перешли на все вегетарианское, до того постное, ну что твоя погребальная процессия или белый снег на горной вершине<sup>16</sup>. Целых пять лет у меня в кишках не было ни жиринки, которую можно было оттереть самым едким мылом.

Столько уже наговорил, что в горле пересохло, а тут как раз в двери под косым углом влетели три градины размером с абрикос и упали прямо передо мной. Если бы не удивительные способности совершенномуудрого, который просто читал мои мысли, и его магия, это можно было бы назвать чистой случайностью. Я покосился на него: спина прямая, дремлет с полузакрытыми глазами, но по его ушным отверстиям, по торчащим в следах, оставленных мухами, и слегка подрагивающим черным волоскам понимаю, что он внимательно слушает. Я из молодых да ранний, много повидал, странных людей и чудаков, можно сказать, встречал немало, но совершенномуудрый был единственным, у кого пара самых длинных черных волос росла из самого ушного отверстия. Уже из-за одних этих длинных волосков я испытывал перед ним бесконечное благоговение, а ведь он обладал еще многими другими необычайными способно-

<sup>16</sup> Игра слов: иероглиф «су» в слове «постный» имеет также значение «белый», в Китае – цвет траура.

стями и талантами. Я подобрал градины, запихнул в рот и, чтобы не отморозить слизистую, стал напряженно гонять их языком. Они стремительно перекатывались, глухо стучаясь о зубы. На пороге появилась и нерешительно замерла лиса – худая как щепка, вымокшая под дождем, с прилипшим к телу мехом и жалостным выражением прищуренных глаз. Прежде чем я успел отреагировать, она юркнула в храм и скрылась за изваянием. Через какое-то время вокруг распространилось густое зловоние от ее тела. Меня лисья вонь не отвращает, потому что я имел дело с лисами раньше. Могу добавить, что когда-то в наших местах многие принялись разводить лис, и тогда все эти изобилующие чудесами рассказы о лисах рассыпались в прах – хоть они сидели у себя в клетках, напустив на себя таинственный вид, наши деревенские мясники их резали, как свиней и собак, с них сдирали шкуру, ели их мясо, и когда все происходило таким совсем не волшебным образом, мифы о лисицах тоже исчезали. За воротами, словно в неизбывной ярости, с треском рассыпался гром. Волнами накатывал тяжелый запах гари, и я, трепеща от ужаса, невольно вспоминал рассказы о том, как бог грома поражает молнией скотину, накликавшую на себя беду, и людей, творящих черные дела. Неужели эта лиса тоже кому-то напакостила? Если так, то, проникнув под своды храма, она все равно что в сейф забралась – бог грома осерчает еще пуще, еще больше расสวิрепает небесный дракон, и не дойдет ли дело до того, что этот небольшой храм сровняют с землей? Ведь кто такой на самом деле бог Утун? Это пять ставших духами животных, и раз владыка небесный позволил им обрести бессмертие, им воздвигли храмы, установили статуи, получают подношения от людей, причем не только изысканные яства, но и прекрасных женщин, так почему бы и лисе не обратиться в духа? В это время внутрь шмыгнула еще одна лиса. В первой я не распознал, самец это или самка, а вот это была самка, без сомнения, и не просто самка, а самка беременная. Потому что, когда она юркнула в ворота, было ясно видно отвисшее брюхо и набухшие сосцы, скользнувшие по мокрому порожку. Она и двигалась совсем не так ловко, как первая. Кто знает, может, этот первый – ее муженек. На сей раз они в еще большей безопасности, потому что нет ничего беспристрастнее воли неба, правитель небесный не может подвергать опасности маленьких лисят у нее в брюхе. Я и не заметил, что градины во рту уже растаяли, и на меня, открыв глаза, глянул совершенномудрый. Похоже, он совсем не обратил внимания на этих двух лис, как не заметил во дворе звуков ветра, грома и дождя, тогда я и обнаружил огромную разницу между ним и мной. Ладно, продолжаю свой рассказ.

## Хлопущка третья

Раннее утро. Завывает северный ветер, гудит огонь в печке, нижнее кольцо дымохода раскалилось докрасна, слой за слоем трескается сероватая окалина, иней на стене превращается в блестящие капельки, они скапливаются на ней повсюду, но не стекают. Отмороженные места на руках и ногах чешутся, из гнойников на отмороженных ушах течет что-то желтое – как это невыносимо, когда отогреваешься. Мать сварила полкотелка жидкой каши из кукурузной муки, выловила редьку из кринки с солеными овощами, разрежала на две половинки, большую отдала мне, себе оставила ту, что поменьше, это и есть наш завтрак. Я знаю, что у матери в банке по меньшей мере три тысячи юаней, да еще Шэнь Гану из лавки, где жарят мясо, мы одолжили две тысячи под месячный процент в два фэня, выгода на выгоду, процент на процент, вот где настоящее ростовщичество. При таких деньжищах есть такие завтраки – чему тут радоваться. Но в то время мне было десять лет, и никто бы меня слушать не стал. Иногда я позволял себе понуть, но мать обращала на меня страдальческий взгляд, а потом принималась ругаться и говорить, что я ничего не смыслю. По ее словам, такая бережливость исключительно для моего же блага, чтобы построить мне дом, купить мне машину, а в скором времени и подыскать невесту.

– Твой отец, сынок, – говорила она, – бросил нас с тобой, и нам нужно сделать так, чтобы показать ему и всей деревне, что без него мы будем жить лучше, чем с ним!

Еще мать наставляла меня, мол, ее отец, то есть мой дед, не раз говорил, что рот человека – всего лишь проход, после которого между рыбой с мясом и отрубями с овощами уже нет никакой разницы. Человек может баловать мула и лошадь, но не может баловать самого себя, если хочешь хорошо жить, нужно вести с самим собой словесную борьбу. В словах матери, наверное, был резон, если бы в течение пяти лет после ухода отца мы всю ели и пили, то наш дом с черепичной крышей уже было бы не построить. И какой смысл обрастать жирком и жить с полным брюхом в хижине, крытой соломой? Ее суждения в корне противоречили теории отца, который утверждал: какой смысл в том, чтобы набивать брюхо отрубями и овощами, если живешь в многоэтажном особняке? Я двумя руками поддерживал отцовскую теорию и двумя ногами попираю суждения матери. Я надеялся, что отец заберет меня, пусть даже если лишь однажды накормит досыта жирным мясом, а потом вернет домой. Но ему бы лишь объедаться мясом и блаженствовать с Дикой Мулихой, обо мне он уже и думать забыл.

Доев кашу, я высунул язык и вылизал начисто чашку, так что и мыть не надо. Потом мать повела меня во двор загружать старый мотоблок. Этот мотоблок был в употреблении у семьи Лао Ланя, на стальных ручках ясно виднелись следы его больших рук, протектор на колесах давно стерся, цилиндр и поршень дизеля серьезно поизносились, прилегали не полностью, и когда двигатель заводили, он изрыгал клубы черного дыма и из-за пропускаемого воздуха и подтекавшего масла издавал странные звуки, похожие на кашель и чихание – будто старик с неважным сердцем и трахеитом. Лао Лань вообще отличался великодушием, а в эти годы, разбогатев на торговле мясом с водой, стал еще щедрее. Он изобрел научный метод закачивания воды в туши животных через легочную артерию с помощью насоса высокого давления. Его методом можно было закачать в тушу свиньи весом две сотни цзиней целое ведро воды, а по старинке в бычью тушу влезало лишь полведра. Сколько воды по цене мяса купили за все эти годы в нашей деревне хитроумные горожане? Если подсчитать, то цифры, наверное, будут поразительные. Лицо Лао Ланя круглое, вид цветущий, говорит он громко, будто большой колокол гудит – по всем статьям прирожденный администратор. Это у него в роду. Став старостой, он не утаил для себя метод закачки воды под давлением, а передал его односельчанам, возглавив тех, кто стремился разбогатеть нечестным путем. В деревне кто ругал его почему

зря, кто нападал, расклеивая сяоцзыбао<sup>17</sup>, в которых его называли помещиком, сводящим старые счета, подрывающим в деревне диктатуру пролетариата. Но такие слова давно уже спросом не пользовались. Из больших репродукторов по всей деревне гремели слова почтенного Ланя: «Драконы порождают драконов, фениксы – фениксов, а мышь рождается, чтобы выкопать норку в земле».

Лишь потом мы осознали, что Лао Лань, подобно мудрому наставнику боевых искусств, не мог передать ученикам все секреты мастерства в полном объеме, а в целях самосохранения оставил кое-что в секрете. Его мясо тоже было с водой, но имело приятный цвет и запах и выглядело свежим: положи его на солнцепек на пару дней – не испортится, а у других не распроданное за день мясо начинало пованивать, в нем заводились червяки. Так что почтенному Ланю не нужно было беспокоиться, что он не распродает товар, и снижать цену, мясо было настолько великолепное, что даже речи не было о том, что его можно не продать. Отец впоследствии утверждал, что Лао Лань впрыскивает в мясо не воду, а формальдегид. А когда отношения нашей семьи с Лао Ланем наладились, он признавал, что одного формальдегида может быть довольно, однако для сохранения свежести и цвета нужно еще три часа окуривать мясо серой.

Мой рассказ прервала стремительно вошедшая в ворота женщина, голова которой была покрыта одеянием кирпичного цвета. Ее появление заставило меня вспомнить ту, что совсем недавно возлежала в проеме стены. Куда она подевалась? Может, эта ворвавшаяся в храм женщина в красном – воплощение той, в зеленом? Войдя в ворота, она совлекла с головы одеяние и извинительно кивнула в нашу сторону. Губы у нее синюшные, лицо бледное, кожа вся в нарывах, как у ошипанной курицы. Глаза холодно поблескивают, как капли дождя за воротами. Замерзла, наверное, страшно, перепугана так, что и слова вымолвить не может, но мыслит ясно. Ткань ее одеяния, скорее всего, поддельная и некачественная, по уголкам стекают кроваво-красные капли, очень похожие на кровь. Женщина, кровь, гром, молнии – столько запретного собралось вместе, выпроводить бы ее надобно, но совершенномудрый закрыл глаза и отдыхает, более степенный, чем статуя с человеческой головой и лошадиным телом у него за спиной. А я тем более не осмелюсь выгнать за ворота под дождь и ветер эту пышнотелую молодую женщину. Тем более что ворота храма распахнуты настежь, зайти может любой, да и какое право я имею ее выгонять? Она повернулась к нам спиной, вытянула руки на улицу и, склонив голову, чтобы укрыться от дождевых струй, выжимает свое одеяние. С журчанием стекает красная вода, смешивается с потоками на земле и через какой-то миг исчезает. Давненько не было такого жуткого ливня. Потоки низвергаются со стрех зеленовато-серыми водопадами, вдалеке что-то грохочет, словно несется огромный табун. Маленький храм подрагивает, разносятся крики потревоженных летучих мышей. Начинает протекать крыша, капли дождя звонко падают в медный умывальный таз совершенномудрого. Женщина довыжала одежду, обернулась и еще раз виновато кивнула. С ее кривящихся губ слетают звуки, похожие на комариный писк. Я вижу ее пухлые синеватые губы, похожие на перезревшие виноградины, такого клевого цвета, не то что у этих расфуфыренных девиц в городе, что стоят под уличными фонарями, дрыгая ногами и покуривая. Вижу также, что белое нижнее белье плотно прилипает к телу, и ясно проступают все очертания. Крепкие холмики грудей походят на замерзшие груши. Я представляю себе, что сейчас они просто ледяные. Вот если бы я мог – как бы мне этого хотелось! – помочь ей стащить с себя это мокрое насквозь белье, уложить ее в ванну с горячей водой, отмочить ее как следует и помыть. Потом накинуть ей на плечи просторный и сухой домашний халат, усадить на теплый и мягкий диван, заварить кружку горячего чая, лучше всего черного, добавить молока, а еще подать пышущую жаром булочку, чтобы она поела и попила вволю, и

---

<sup>17</sup> Сяоцзыбао – стенгазета, написанная мелкими иероглифами.

уложить на кровать спать... Слышу вздох мудрейшего, тут же привожу в порядок свои разгулявшиеся мысли, но глазами невольно следую за ее телом. Она уже отвернулась, прислонясь левым плечом к внутренним воротам и косясь на бушующий снаружи ливень. Правой рукой она придерживает одежду, словно только что содранную с лисицы шкуру. Продолжаю рассказ, мудрейший. Голос мой звучит неестественно, потому что добавился еще один слушатель.

Отец с Лао Ланем как-то сцепились не на шутку: Лао Лань сломал отцу палец на руке, а отец откусил ему полуха. Из-за этого наши семьи стали враждовать, но после того, как отец сбежал с Дикой Мулихой, мать завела дружбу с Лао Ланем. Он продал нам по цене металлолома старый мотоблок. Причем не только продал, но и сам бесплатно обучил, как им управлять. Деревенские сплетницы пустили слух, что между Лао Ланем и моей матерью существует связь, я же, как сын, поручился перед своим находящимся где-то далеко отцом, что их слова – полный вздор, они завидовали тому, что мать научилась управлять мотоблоком, а рот завистливой женщины все равно что дырка в заднице, и все, что такие женщины говорят, – чушь собачья. Лао Лань – персона важная, деревенский староста, человек богатый и представительный, то и дело на большущем грузовике возит мясо в город, каких только женщин не видывал? Как ему могла понравиться моя мать, грязная и неумытая, в лохмотьях? Я хорошо помню, как он учил мать управлять мотоблоком на деревенском току. Было раннее зимнее утро, только показался красный шар солнца, на стогах сена рядом с током застыл слой розоватого инея, на стене, вытянув шею, кричал большой красный петух, со стороны деревни, то ослабевая, то усиливаясь, доносился пронзительный визг свиньи на заклании, из печных труб молочно-белой дымкой курился дымок, тронувшийся со станции поезд мчался навстречу показавшемуся солнцу. Мать в оставленной отцом большой, не по размеру, темно-желтой куртке, подпоясанной красным электрическим проводом, сидела на месте водителя, широко расставив руки и вцепившись в рукоятки. Лао Лань восседал позади нее на переднем борту кузова, расставив ноги, и держал ее руки, лежащие на ручках мотоблока. Вот уж действительно передавал свой опыт из рук в руки, и с какой стороны ни посмотри – спереди или сзади, – держал мать в объятиях, и хотя мать была одета, как грузчик на железнодорожной станции, и ни о какой женской привлекательности говорить не приходилось, но она была женщиной, вот деревенские бабы и заходились от ревности, да и часть мужского населения давала волю воображению. Лао Лань был человек при деньгах и с положением, до женского пола известный охотник, и в деревне с ним заигрывали все мало-мальски симпатичные бабенки. Сам он не обращал внимания на пересуды, но мать-то мою бросил муж, а, как говорится, у ворот вдовы чего только не скажут, ей надо было быть осмотрительной и осторожной, не давать никакого повода для слухов, но она все же позволяла Лао Ланю учить себя вождению в такой позе, и такое поведение можно было объяснить лишь тем, что она потеряла голову от жадности. Дизель мотоблока оглушительно ревел, из радиатора поднимался пар, выхлопная труба плевалась сгустками черного дыма, создавалось впечатление, что хоть он и сорвал голос, но жизненные силы в нем бьют ключом, он таскал мать с Лао Ланем по току кругами, похожий на яростно подхлестываемого плетью теленка. На бледном лице матери появились яркие пятна румянца, уши покраснели, как петушинный гребешок. Утро в тот день действительно выдалось морозное, от этого сухого холода у меня кровь стыла в жилах и все тело будто кошки покусывали. А у матери по лицу тек пот, от волос шел пар. Она никогда не имела дело с механизмами, впервые сидела за рулем и, хотя это был простейший мотоблок, конечно же, испытывала ни с чем не сравнимое возбуждение, страшно волновалась, иначе как объяснить то, что в это морозное утро она обливалась потом. Я видел, что глаза матери сияют каким-то прекрасным блеском, они никогда так не сияли с тех пор, как отец покинул нас. После того, как мотоблок сделал с десяток кругов по току, Лао Лань легко спрыгнул с него. Он человек тучный, но каким грациозным было это его движение! Когда Лао Лань спрыгнул, мать напряглась, повернув голову, стала искать его, и мотоблок устремился прямо к канаве у края тока.

– Поворачивай! Поворачивай! – закричал Лао Лань.

Мать стиснула зубы, мускулы щек напряглись. И, в конце концов, когда мотоблок вот-вот должен был залететь в канаву, выправила его. Поворачиваясь, Лао Лань, не отрываясь, следил за матерью, словно вокруг пояса у нее была привязана невидимая веревка, конец которой он держал в руке.

– Вперед смотри, – громко подсказывал он, – не на колеса, не отвалятся они, и на руки нечего смотреть, они у тебя грубые, как наждак, чего на них любоваться. Вот так, как на велосипеде едешь. Я же говорил, привяжи свинью на сиденье водителя, она тоже сможет кругами ездить, чего уж говорить о взрослом человеке! Жми на газ, чего боишься! Все эти механизмы, туды их, одинаковы, нечего относиться к ним трепетно, лучше всего – расколотить, чтобы осталась груда искореженного металла, чем больше бережешь, тем чаще что-нибудь приключается. Верно, вот так, учеба твоя кончилась, можешь на нем домой возвращаться, для сельского хозяйства главный выход – механизация. Знаешь, кто это сказал<sup>18</sup>, ублюдок маленький? – спросил он, уставившись на меня. Мне не хотелось отвечать, было страшно холодно, даже губы немного задубели. – Ладно, езжай, вас отец бросил, так что деньги за мотоблок через три месяца отдашь.

Мать соскочила на землю, ноги у нее пару раз подкосились, она чуть не упала, Лао Лань, протянув руку, поддержал ее со словами:

– Осторожно, сестра!

Мать залилась румянцем, вроде собралась что-то сказать в благодарность, но долго стояла с раскрытым ртом, будто у нее язык отнялся, и так ничего и не произнесла. От этой свалившейся на нее радости она разве что дар речи не потеряла. За десять с лишним дней до покупки мотоблока мы известили об этом деревенского делопроизводителя почтенного Гао, но никакого ответа не получили. Даже такой мальчуган, как я, понимал, что такое дело изначально не может быть успешным, отец откусил человеку пол-уха, весь облик ему испортил, ну как он может продать нам эту машину? Будь я на его месте, я бы так сказал: «Семья Лотуна хочет купить мою технику? Хм, да я скорее в реку ее загоню и оставлю ржаветь, чем продам им!» Но когда мы уже потеряли всякую надежду, к нам все же явился почтенный Гао и передал, что Лао Лань согласился продать нам технику по цене металлолома, а также предлагает явиться за ней завтра рано утром на ток.

– Староста сказал, что он, староста деревни, должен помочь вам избавиться от нищеты и стать зажиточными<sup>19</sup>, – добавил почтенный Гао, – он хочет самолично научить тебя водить машину. – От волнения мы с матерью не спали всю ночь, она то поминала добром Лао Ланя, то поносила отца, а потом перенесла весь огонь на Дикую Мулиху и стала крыть ее почем зря. Из этой ее ругани я и узнал, что эту стычку не на жизнь, а на смерть между Лао Ланем и отцом подстроила Дикая Мулиха. И никак не шло из головы, что разодрались они тоже рано утром, но в начале лета.

Глаза у этой женщины большущие, в уголке рта родимое пятно в форме головастика, из него курчавятся рыжеватые волоски. Выражение глаз какое-то странное, такое впечатление, что она не в себе. Край одежды еще зажат у нее в руке, но она то и дело с бульканьем встряхивает ее. За воротами беспрестанно поливает косою дождь, по ее телу течет вода, под ногами грязь. Только сейчас замечаю, что она босая. Большие ступни, по меньшей мере размера сорокового, никак не сочетаются с остальной фигурой. На подъемах стоп налипли листья с деревьев, пальцы промокли под дождем и уже побелели. Я продолжаю говорить и в то же время гадаю, откуда она взялась. В такую погоду, в такой денек что могло занести эту полнотрудную женщину в крохотный храм вдалеке от деревни и постоянного двора? Однако этот

---

<sup>18</sup> Цитата из Мао Цзэдуна.

<sup>19</sup> «Избавиться от нищеты и стать зажиточными» – популярный лозунг 1980-х годов.

храм, посвященный пятерке сверхлюдей с потрясающими сексуальными способностями, еще в былые времена люди образованные именовали храмом бога распутства. Хотя меня обуревали сомнения, в душе зародилось немало теплых чувств. Очень хотелось подойти, поздороваться, обнять, но передо мной сидел совершенномудрый, мне хотелось воспользоваться возможностью и попросить его стать моим наставником, вот я безостановочно и рассказывал ему свою историю. Женщина словно почувствовала мои желания, она стала часто коситься в мою сторону, губы, плотно сжатые с того самого момента, когда она вошла, приоткрылись, обнажив сверкнувшие зубы, желтоватые, неровные, но с виду крепкие. Густые брови почти срослись и были расположены очень близко к глазам. Эти брови придавали ее лицу особенную живость, что-то экзотическое. Не знаю, намеренно или непроизвольно она поддегивала прилипшие к ягодицам штаны, но, когда она отводила руку, штаны прилипали снова. Я очень переживал за нее и все же ничего путного придумать не мог. Будь я хозяином в этом храме, я бы, несмотря на все запреты и предписания, позволил бы ей пройти в заднюю часть храма и переодеться. Да-да, разрешил бы переодеться в кашью совершенномудрого, а свою одежду – повесить сушиться на его кровать. Но согласится ли он? Она вдруг скривилась и звонко чихнула.

– Поступай по своему разумению, женщина, – не открывая глаз, произнес совершенномудрый. Та отвесила ему земной поклон, кокетливо улыбнулась мне, подхватила свое одеяние и прямо перед носом шмыгнула за статую духа лошади.

## Хлопушка четвертая

В летнее время рано утром народ очень усталый, потому что ночи очень короткие, кажется – только успел закрыть глаза, как уже рассвело. Мы с отцом уже нырнули в облако пыли на деревенской улице, но еще слышали громкие крики матери во дворе. Мы тогда жили в доставшейся по наследству от деда приземистой и старой тростниковой хижине из трех комнатушек, жили беспорядочно и шумно. Среди недавно возведенных в деревне домов с красной черепичной крышей хижина эта выглядела образцом такой ужасающей бедности, что походила на нищего, выпрашивающего на коленях подаяние у разодетых в бархат и шелка богатеев-помещиков. Окружающая двор стена высотой в половину человеческого роста покрылась травой – она не то что от грабителей, от беременной суки защитить не могла. Вот через нее частенько и перемахивала сучка Го Шестого, чтобы стащить у нас кости с мясом. Я нередко, словно зачарованный, наблюдал, как эта сучка легко перепрыгивала стену туда и обратно, задев ее своими черными сосками, которые болтались из стороны в сторону, когда она приземлялась. Отец шагал по улице, я сидел у него на плечах, глядя с высоты, как мать яростно ругается и режет тесаком для овощей обрезки батата, за которыми она ходила рыться в мусорной куче у железнодорожной станции. Поскольку отец был обжора и лентяй, жизнь у нас в семье проходила словно в конвульсиях: то деньги есть и еды полно, то денег нет и в доме есть нечего. Отец на ругань матери обычно отвечал:

– Погоди, погоди, скоро начнется вторая земельная реформа, тогда еще спасибо мне скажешь. Не надо Лао Ланю завидовать, он кончит, как и его отец, дружина крестьянской бедноты выволочет его на мост и... – Тут отец наставлял указательный палец на макушку матери и изображал губами выстрел – бабах! Мать, побледнев, в страхе хваталась за голову. Но вторая земельная реформа все как-то не начиналась и не начиналась, и бедная мать вынуждена была собирать выброшенные бататы, чтобы накормить поросят. Эти двое поросят у нас в доме постоянно недоедали, визжали от голода, и слушать их было сущее наказание.

– Орете, орете, а чего, мать вашу, орете?! – разозлится, бывало, отец. – Докричитесь у меня, зажарю и съем ублютков.

Мать хватала тесак для овощей и сверкала глазами, вперившись в него:

– Только попробуй, этих двух поросят я своими руками выкормила, пусть кто посмеет хоть волосок на них тронуть, буду биться не на жизнь, а на смерть!

– Гляньте, как разошлась, – хихикал отец. – Заморыши – оба, кожа да кости, даже если предложишь съесть их, не стану!

Я смерил поросят пристальным взглядом: съедобного мяса они и впрямь не нагуляли, а вот из четырех развевающихся ушей еще можно было приготовить вкуснятины на пару чашек. Уши, я считаю, самое вкусное на свиной голове: мясо нежирное, одни белые хрящики внутри, похрустывают на зубах, а если их приготовить со свежими огурчиками в пупырышках да с толченым чесноком и кунжутным маслом, то еще вкуснее.

– Пап, – заявил я, – мы можем их уши съесть!

Мать яростно уставилась на меня:

– Смотри, как бы я сначала тебе, ублюдку мелкому, уши не отрубила! – И просто вихрем налетела на меня со своим тесаком, напугав так, что я поспешил укрыться на груди отца. Ухватив за ухо, она тащила меня оттуда, отец тянул назад за шею, а я, раздираемый между опасностью и страданием, тонко верещал, и мои вопли сливались с визгом свиней под ножом в деревне – почти никакой разницы. Отец в конце концов взял верх и вырвал меня из рук матери. Опустив голову, он тщательно осмотрел мое перекрученное ухо и глянул на мать:

– Ну и злыдня же ты! Говорят вот, тигр как ни свиреп, детенышей своих не пожирает, а ты, видать, посвирепее тигра будешь!

Мать аж пожелтела от злости, как свечка, губы посинели, и ее всю била дрожь, хоть она и стояла возле очага. Под защитой отца я осмелел и громко заорал, назвав мать по имени:

– В твоих мерзких бабских руках, Ян Юйчжэнь, вся моя жизнь прахом идет! – От моей ругани мать аж застыла, выпучив на меня глаза. Отец делано засмеялся, взял меня на руки и выбежал на улицу. Лишь когда мы бежали по двору, я услышал, как она пронзительно голосит:

– До смерти разозлил меня, пашенок этакий...

Виляя тонкими длинными хвостиками, оба поросенка сосредоточенно рыли землю в углу стены, словно двое заключенных, задумавших прорыть подземный ход и сбежать из тюрьмы. Отец потрепал меня по голове и негромко спросил:

– А ты, негодник, откуда знаешь ее имя?

Я поднял глаза на его серьезное смуглое лицо:

– Я слышал, как ты сам говорил!

– Когда это я говорил, что ее зовут Ян Юйчжэнь?

– Ты с тетей Дикой Мулихой разговаривал и сказал: «В руках этой мерзкой бабы, Ян Юйчжэнь, вся моя жизнь прахом пошла!»

Отец своей большой ручищей прикрыл мне рот и вполголоса произнес:

– Чтобы не распускал у меня язык, паршивец, отец к тебе великодушно относится, смотри и ты не навреди мне!

От руки отца, мясистой и мягкой, сильно пахнет табаком. Такие руки у мужчин в деревне встречаются редко, а все потому, что он полжизни бездельничал, почти не занимался тяжелым физическим трудом. Когда он отпустил меня, я тяжело вздохнул, крайне недовольный его двусмысленной позицией. В этот момент из дома с тесаком в руке выскочила мать. Она будто нарочно привела в беспорядок волосы, и голова ее больше походила на сорочье гнездо на большом тополе.

– Ло Тун, Ло Сяотун, бесстыжее черепашьё отродье, – крикнула она, – пусть мне не жить, но я разделаюсь с вами сегодня, все равно так жить дальше нельзя, вот нам всем вместе конец и придет!

По страшному выражению ее лица мы поняли, что она разошлась не на шутку и это не пустая угроза, судя по всему, она пойдет до конца, чтобы погибнуть вместе с нами. Если женщина готова отдать жизнь, против нее и десятку мужчин не устоять, в такой ситуации выходить навстречу означает, в общем-то, погибнуть, в такой момент самое разумное – убежать. Отец мой – человек непутевый, но ума ему не занимать: настоящий мужчина не станет срамиться на глазах у всех, он подхватил меня под мышку, повернулся и рванул к стене. Он не побежал к воротам и правильно сделал, потому что, хотя в доме у нас ничего ценного не было, мать сохранила принесенную еще из родительского дома дурную привычку каждый вечер запирает ворота на большой медный замок. К слову, это единственное имущество в доме, которое можно было обменять на поросенка. Думаю, когда ему невольно хотелось мяса, отец наверняка не раз заглядывался на этот замок, но мать берегла его, как собственное ухо, потому что его передал ей, как приданое, ее отец, это был подарок, его забота о ней. Если бы отец со мной под мышкой побежал к воротам, он, конечно, сломал бы их и выскочил, но, без сомнения, долго бы возился, а в это время наши головы, как бутоны цветов, раскрылись бы под ударами материного тесака. Подбежав к стене, отец сделал кульбит и перемахнул через нее, оставив позади рассви-репевшую мать и целую кучу неприятностей. Я ничуть не сомневаюсь, что и матери ничего не стоило преодолеть эту стену, но она этого не сделала. После того, как мы вылетели со двора, она погоню прекратила, попрыгала какое-то время у стены и вернулась к дому, чтобы продолжить рубить гнилые бататы, сопровождая все это руганью. Это был отличный способ выпустить пар – обойтись без кровопролития, после которого уже ничего было бы не исправить, и без непременно последовавшей бы ответственности по закону, но при этом почувствовать, будто кромсаешь тесаком заклятых врагов. Тогда мне казалось, что вместо гнилых бататов она пред-

ставляет наши головы, но теперь, когда я вспоминаю об этом, уверен, что она видела голову Дикой Мулихи. Настоящим врагом в ее душе был не я и не отец, а именно Дикая Мулиха. Она считала, что именно Дикая Мулиха соблазнила отца, а правда это или нет, сказать точно не могу. Кто задавал тон в отношениях отца с Дикой Мулихой, кто первым начал строить глазки другому, об этом известно лишь им двоим.

Договорив до этого места, я почувствовал, что сердце исполнилось какой-то необычайной теплоты, оно обратилось к женщине за статуей Духа Лошади, так похожей на мою тетю Дикую Мулиху. Она сразу показалась знакомой, но я об этом как-то не подумал. Потому что тетя Дикая Мулиха десять лет назад умерла. А может, не умерла? Или после смерти переродилась в кого-то? Или воскресла под другой личиной? В душе все смешалось, и перед глазами все поплыло.

## Хлопушка пятая

Мой отец – человек умный, уж точно умнее Лао Ланя, физике он не обучался, но знает, что есть электричество отрицательное, а есть положительное, не учил физиологию, но знает о сперме и яйцеклетке, он никакой не химик, но знает, что формалин может уничтожить микробы, предохранять мясо от порчи и стабилизировать протеины, вот и догадался, что Лао Лань его в мясо впрыскивает. Задумай он разбогатеть, наверняка стал бы первым богачом в деревне, в этом я нисколько не сомневаюсь. Он личность выдающаяся, «дракон среди людей», а такие пренебрегают накоплением собственности. Многие, наверное, видели, как белки, мыши и другие мелкие зверушки роют норы и делают припасы, а кто видел, чтобы рыл норы и запасал еду царь зверей – тигр? Тигр обычно спит в горной пещере и выходит на охоту, лишь когда проголодается; вот и отец у меня обычно ест, пьет и развлекается и, лишь проголодавшись, отправляется на заработки. Отец не будет, как Лао Лань и ему подобные, вести за деньги кровавую схватку, или, как неотесанная деревенщина, проливать пот, работая грузчиком на железнодорожной станции, он зарабатывает своим умом. Как в древности был некий повар Дин<sup>20</sup>, мастер по разделке говяжьих туш, так и нынче есть мой батюшка, эксперт по оценке скота. С точки зрения повара Дина, скот – это лишь нагромождение мяса и костей, так же смотрел на скотину и мой отец. Один лишь взгляд повара Дина был подобен ножу, взгляд моего отца уподоблялся ножу, а также весам. То есть когда перед отцом выводили живого быка, он обходил вокруг него пару раз – самое большее трижды, а иногда еще для показухи засовывал руку быку под переднюю ногу, а после этого мог четко назвать вес быка брутто и выход мяса почти с той же точностью, что и современные электронные весы самой крупной английской скотобойни с погрешностью не больше килограмма. Поначалу народ считал – отец болтает, что ему в голову взбредет, но после нескольких проб не смог не выразить удовлетворения. Услуги отца позволили барышникам и мясникам исключить сделки вслепую и наобум, установить элементарную справедливость. После того как авторитет отца был установлен, некоторые барышники и мясники стали заискивать перед ним в надежде, что оценка обойдется им дешевле. Но отец, будучи человеком дальновидным, решительно отказался порочить свою репутацию ради сиюминутной мелкой выгоды, потому что это значило потерять работу, как говорится, разбить чашку с рисом. Барышник мог прислать к нам в дом сигареты и вино, отец же выбрасывал все на улицу, а потом у стены крыл его на все корки. Мясник мог поднести поросенка, но отец и его вышвыривал на улицу, а затем у стены ругался почему зря. «Экий этот Ло Тун, – говорили и барышники, и мясники, – с норовом, но справедлив безмерно». После того как в отце признали человека с норовом, твердого и прямолинейного, степень доверия к нему возросла дальше некуда, и когда продавец с покупателем не хотели уступать друг другу, их взоры обращались к нему:

– Хватит спорить, послушаем Ло Туна!

– Хорошо, послушаем Ло Туна. Что скажешь, почтенный Ло?

Отец с важным видом обходил пару раз вокруг быка, не глядя ни на продавца, ни на покупателя, а, уставившись в небо, сообщал вес брутто и выход мяса и, назвав цену, отходил в сторонку покурить. Продавец и покупатель звонко ударили по рукам, звучало «Добро! По рукам!», по завершении расчетов оба подходили к отцу, и каждый вынимал банкноту в десять юаней в благодарность ему за труды. Нужно заметить, что до появления на барышном рынке отца существовали также старомодные посредники, в большинстве своем смуглолицые и поджарые старикашки, некоторые с торчащей позади косичкой, они торговались с клиентами при помощи пальцев, спрятанных в широком рукаве, и это придавало их ремеслу некую таинственную окраску. Когда появился отец, неясности в торговле были устранены, исчезли и темные

<sup>20</sup> Повар Дин – персонаж из сочинений Чжуанцзы, китайского философа ок. IV века до н. э.

стороны в этом процессе, всех этих жуликоватых дельцов с жадными глазками отец изгнал с исторической сцены. Это был огромный прогресс в истории скототорговли, чуть ли не революция. Глазомер отца проявлялся не только при оценке крупного рогатого скота – он был спец и по свиньям, и по баранам, ну как свержискусный столяр делает не только столы, но и табуретки, может и гроб выстругать, дай отцу оценить верблюда, так тоже не вопрос.

В этом месте моего рассказа мне показалось, что за статуей Духа Лошади кто-то всхлипнул, неужели это и правда тетя Дикая Мулиха? Если это действительно так, почему ее внешность за десять лет не изменилась? Ведь это же невозможно, значит, она не тетя Дикая Мулиха. Но если это не она, почему я вызываю у нее такое чувство привязанности? А может быть, это она? Говорят, души умерших не отбрасывают тени, жалко вот, я не заметил, есть у нее тень или нет. На улице дождь, сумрачно, солнца нет, тут ни у кого из людей нет тени, так что думать про это без толку. Что она, интересно, сейчас за статуей делает? Не гладит ли этого человекоконя по задку? Десять лет назад я слышал, как люди говорили, что некоторые женщины, желающие, чтобы их мужья обрели большую мужскую силу, воскурив ароматные свечи и поклонившись образу этого духа, подбираются к нему сзади и хлопают прекрасного и могучего жеребца по круглому крупу. Насколько мне известно, в стене позади статуи есть небольшая дверца, а за ней темная комнатка без окон, где даже днем нужно зажигать фонарь, чтобы разглядеть, что там есть. А там стоит шаткая деревянная кровать, застеленная грубым одеялом с синими узорами, набитая соломой подушка, всё грязное и засаленное. В комнатке полно блох, и если ты войдешь туда голая, то услышишь, как они, обрадованные, шумно накинутся на твою кожу. Слышно будет даже, как радостно заверещат клопы на стенах: «Мясо, мясо пришло!» Люди едят мясо свиней, собак, коров и баранов, а блохи и клопы питаются человеческой плотью – то, что называется, на одну силу есть другая сила, или зуб за зуб, око за око. Вот что я тебе скажу, барышня, тетя Дикая Мулиха или нет: выходи-ка ты оттуда, не надо позволять этим страшным тварям впиваться в твоё богатое тело. Тем более не надо хлопать по задку коня. Если я вызываю у тебя какие-то чувства, то, надеюсь, ты похлопаешь по попе меня. Хотя понимаю, что, если ты тетя Дикая Мулиха и есть, допускать подобные мысли – грех. Но желания сдержать не получается. Если эта женщина сумеет увести меня с собой, я от мира не удалюсь, и все тут, мудрейший, и говорить больше не буду, в душе все уже смешалось. Мудрейший будто заглянул мне в душу, эти слова я проговорил про себя, а он будто уже все прознал. Одной холодной усмешкой взял и на время отсек нить моих желаний. Ладно. Рассказываю дальше.

## Хлопущка шестая

Однажды в начале лета отец со мной на плечах пришел на деревенский ток. После того как наша деревня стала специализироваться на забое скота, большую часть пахотных земель забросили; при баснословных барышах, какие обещала эта специализация с учетом применения таких противозаконных методов, как впрыскивание воды, лишь последний болван мог заниматься земледелием. Земли опустели, и ток стал местом, где шла торговля скотом. Чиновники городка планировали устроить скотный рынок перед городской управой, чтобы получать деньги за управленческие расходы, но народ и слушать не захотел. Чиновники привели ополченцев, чтобы насадить свой замысел силой, произошли стычки с мясниками, вооруженными ножами, в ход пошло оружие, еще немного, и были бы жертвы. Четверых мясников задержали. Жены мясников стихийно организовали подачу петиции и, набросив на себя кто бычью шкуру, кто свиную, кто баранью, провели сидячую забастовку у ворот городской управы, сопровождая ее криками, мол, если вопрос не будет решен, они отправятся в провинциальный центр, а если и там не будет решения, сядут на поезд и поедут в Пекин. А последствия появления этой толпы женщин в звериных шкурах на Чананьцзе<sup>21</sup> трудно даже себе представить. Никто не мог предугадать, что можно ждать от этой толпы скандальных женщин, но чиновничьи шапки восьми-девяти из десяти уездных ганьбу<sup>22</sup> точно бы полетели. Поэтому женщины в конце концов добились победы, мясников отпустили за отсутствием состава преступления, мечты чиновников городка об обогащении пошли прахом, ток в нашей деревне, как обычно, был полон живности, а городской голова, по слухам, получил нагоняй от начальника уезда.

На току семеро перекупщиков с утра пораньше уже восседали на корточках, покуривая и поджидая мясников, рядом с ними скотина неторопливо жевала свою жвачку в неведении о том, что их ждет конец. Торговцы были в основном из уездов ближе к западу и изъяснялись с чудным произношением, словно актеры жанра миниатюры. Они появлялись примерно раз в десять дней, и всегда каждый из них приводил две-три головы скота, но не больше. Как правило, они приезжали на особо медленных смешанных товарно-пассажирских поездах, люди и скот в одном вагоне, сходили с поезда ввечеру и до нашей деревни добирались уже в полночь. До железнодорожной станции всего-то с десяток ли, и даже прогулочным шагом можно дойти за пару часов, но торговцы преодолевали это расстояние за восемь. Они тащили за собой скотину, которая покачивалась от вызванного долгой поездкой головокружения, и скапливались на выходе из станции. Там ревизоры в синей форме и фуражках тщательно проверяли у них наличие билетов на себя и на скотину и отпускали, лишь сочтя, что все в порядке. На выходе животные любили обдать ревизоров жидким навозом через железную ограду, то ли подшучивая, то ли издеваясь над ними, а может, и в отместку. Весной на выходе из станции к ним примешивались и ехавшие в том же поезде из западного края торговцы цыплятами и утятами, на широких и длинных, гладких и упругих добротных бамбуковых коромыслах у них покачивались клетки из тростника и бамбука, они бочком выходили за пределы станции, а потом стремительным шагом оставляли барышников позади. В больших широкополых плетеных шляпах, просторных накидках синего цвета, они шагали скоро и легко, достойно и свободно и составляли яркий контраст с неряшливо одетыми, перемазанными с ног до головы навозом, падшими духом скототорговцами. Бритоголовые, грудь нараспашку, в невероятно модных тогда очках с ртутным покрытием, придававшим жуликоватый вид, те косолапо вышагивали навстречу огненно-красному закатному солнцу по грунтовой сельской дороге в сторону нашей деревни,

<sup>21</sup> Чананьцзе – главный проспект в Пекине.

<sup>22</sup> Ганьбу – слой партийных работников и государственных служащих, занятых административно-управленческой деятельностью.

покачиваясь на каждом шагу, точно сошедшие на берег моряки. Дойдя до канала с многовековой историей, заводили в него скотину на водопой. Если было не так уж холодно, они всегда мыли и чистили животных, чтобы они смотрелись новенькими и бодрыми, как невесты. Затем мылись сами, ложась на спину прямо на мелкий песок, чтобы чистые струи мелководья неторопливо омывали брюхо. Если по дороге у канала проходили молодые женщины, лаяли почем зря, как псы в гоне. Наплескавшись в воде, выбирались на берег, отпускали скотину пастись у канала, а сами садились кружком, пили вино, ели мясо, грызли сухие лепешки, пока на небе не высыпали звезды, и потом, пьянехонькие, еле волоча ноги и ведя за собой скотину, направлялись к нам в деревню. Почему они непременно появлялись в деревне поздно ночью, в третью стражу, оставалось их тайной. В детстве я спрашивал об этом родителей и убежденных сединами деревенских стариков, но они всегда выпучивали на меня глаза, будто мой вопрос настолько труден, что и не ответишь, или же просто отвечать нет нужды. Когда торговцы входили со своей скотиной в деревню, все деревенские псы, как по команде, поднимали бешеный лай. В деревне все от мала до велика просыпались – ага, барышники явились. В моих детских воспоминаниях это были загадочные существа, и ощущение таинственности тесно связано с их полуночными появлениями. Я всегда считал эти появления полными глубокого смысла, но взрослые в основном думали иначе. Помню, как лунными ночами после того, как в деревне замолкал лай собак, мать, закутавшись в одеяло, садилась к окну, вглядываясь на улицу. Отец тогда еще нас не бросил, но уже, бывало, не ночевал дома. Потихоньку сев на кровати, я скользнул взглядом мимо матери за окно: там по улице безмолвно шли барышники, таща за собой скотину, начисто вымытая, она отбрасывала блики света, будто только что извлеченные из земли огромные фигуры из цветной керамики. Если бы не отчаянный собачий лай, представшее перед глазами можно было бы счесть красивым сном, но и собачий лай, как я теперь вспоминаю, в то время воспринимался как часть этого прекрасного сна. У нас в деревне было несколько постоянных дворов, но барышники там не останавливались, они направлялись со своей скотиной прямо на ток и ждали там рассвета, несмотря на ветер и дождь, лютый мороз или страшную жару. Пару раз в ветреную и дождливую ночь к ним приходил хозяин одной гостинички, чтобы позвать к себе, но барышники вместе со скотиной переносили непогоду как каменные изваяния, и никакие уговоры на них не действовали. Или они хотели сэкономить на плате за проживание? Ничего подобного – говорят, этот таинственный народец отправлялся после продажи скотины в город и там предавался безудержному разгулу и пьянству, спускали почти все деньги, и им едва хватало на билет обратно. Привычки и манеры у них были совсем не такие, как у знакомых мне крестьян, разительно отличались они и по образу мыслей. В детстве я не раз слышал, как те, кто пользовался уважением и авторитетом, вздыхали: «Эх, да что это за народ такой? О чем они только думают?» Да, что за мысли вертятся у них в головах? Приводят и рыжую скотину, и черную, быков и коров, больших и маленьких, однажды привели дойную корову с выменем, что твой жбан для вина, мой отец, оценивая ее, даже столкнулся с затруднениями, потому что не очень понимал, считать ли это вымя мясом или чем-то второсортным.

Завидев отца, торговцы поднялись из-под низкой стены. Эта компания с утра пораньше уже напялила свои бандитские очки, выглядели они пугающе, но сморщенные в улыбке лица говорили о том, что отец у них в почете. Отец снял меня с плеч, присел на корточки метрах в трех от них, вынул мятый портсигар и достал деформированную влажную сигарету. Барышники подошли со своими, и с десяток сигарет появилось перед ним. Он собрал все предложенные сигареты вместе и аккуратно сложил на земле.

– Покури, почтенный Ло, тудыть тебя, разве тебя несколькими сигаретами подкупишь?

Усмехнувшись, отец промолчал и все же закурил свою изломанную. Кучками стали подходить деревенские мясники, вроде бы чисто помытые, но от них все равно пахло кровью, видать, будь она бычья или свиная, совсем ее не смоешь. Скотина, учуяв исходящий от мясников запах, сгрудилась вместе, в глазах засверкали искорки страха. Пара молодых бычков жидко

обделалась, старые коровы вроде бы хранили спокойствие, но я-то понимал, что оно деланое, потому что они напряженно прижали хвосты, словно боясь оскоромиться, жилка над большими глазами подрагивала, будто рябь на воде от легкого ветерка. Чувства крестьян к скотине глубоки, убийство коровы, особенно старой, всегда считалось нарушением законов небесных и человеческих, у нас в деревне одна женщина, больная проказой, бывало, глубокой ночью, когда все спят, прибежала на кладбище за околицей и начинала громко кричать, повторяя одно и то же: «Не знаю, кто из предков убил старую корову, пусть возмездие падет на сыновей и внуков». Коровы могут плакать, и та молочная корова, с которой отец пришел в замешательство, когда ее привели на убой, опустилась перед мясником на передние ноги, и из ее голубых глаз потекли большущие слезы. При виде этого руки мясника, занесшего было над ней нож, опустились, на память ему пришли многочисленные рассказы о коровах. Нож выскользнул и брякнулся на землю. Колени мясника подогнулись, он опустился на них и повернулся лицом к корове. И зарыдал в голос. С тех пор мясник оставил свой нож и стал заниматься разведением собак. Когда его спрашивали, почему он все же встал перед коровой на колени и заплакал, он говорил, что в глазах коровы увидел свою умершую мать, что, возможно, эта корова была ее перерождением. Этот мясник (фамилия его Хуан, а имя – Бяо), став собаководчиком, всегда ухаживал за той старой коровой, как преданный сын ходит за старухой-матерью. Когда буйно разрасталось разнотравье, мы нередко видели, как он ведет свою старую корову на берег реки попасться. Сам идет впереди, корова сзади, никаких веревок, чтобы ее вести. Люди слышали, как Хуан Бяо говорит ей: «Пойдем, матушка, поешь молодой травки у реки». Или: «Давай домой, скоро стемнеет, зрение у тебя неважное, не наелась бы какой отравы». Хуан Бяо – человек дальновидный, когда он лишь затеял собаководство, многие над ним насмеялись. Через пару лет никто и не смел зубоскалить. Он стал скрещивать местных собак с породистыми немецкими и получил прекрасное потомство смелых и умных щенков, которые и дом сторожили, и помогали хозяевам получать информацию. Стоило вынюхивавшим все чиновникам или журналистам из уезда приблизиться к деревне на три ли, собаки, унюхав их, поднимали беспрестанный лай. Предупрежденные, мясники тут же всё убирали, наводили порядок во дворах, не оставляя нежданым гостям никаких доказательств. Однажды парочка репортеров из вечерней газеты, переодевшись нелегальными мясниками, тайно проникли в деревню с намерением раскрыть наше широко известное нелегальное мясное производство. Они, хоть и одежду свиным жиром и кровью измазали, и мясников своим видом ввели в заблуждение, но собачьи носы провести не смогли, и в конечном счете несколько десятков метисов, выведенных Хуан Бяо, принялись гонять этих репортеров с одного конца деревни на другой и оборвали им штаны так, что вывалились спрятанные в мотне журналистские удостоверения. Поэтому бессовестная обработка мяса в нашей деревне смогла беспрестанно продолжаться, а соответствующим организациям так никогда и не позволили взять это дело в свои руки. Помимо победы над продажными чиновниками у Хуан Бяо вообще-то имеется еще одна заслуга. Он разводил также собак на мясо: больших, глупых, с очень низким интеллектом, которые виляли хвостом при виде и хозяина, и воришек, забравшихся в дом поживиться. Из-за своей примитивной организации эти собаки отличались благодушием, только и знали, что есть и спать, и быстро набирали вес. Спрос на таких собак превышал предложение, и покупатели приходили за щенками, когда они только появлялись на свет. В восемнадцати ли от нашей деревушки была деревня Хуатунь, где жили корейцы – вот уж кто больше всех в мире любит собачье мясо, да еще искусно готовит его; они открыли ресторан собачьего мяса в уездном городе, других городах и даже в провинциальном центре. Хуатуньская собачатина была очень популярной, но своей славой она в большой мере была обязана высококачественному сырью, которое поставлял Хуан Бяо. От приготовленных из него блюд шел аромат не только собачатины, но и телятины. А всё потому, что дней через десять после рождения щенят Хуан Бяо отнимал их от матери и переводил на коровье молоко, чтобы ускорить репродуктивность сук. Молоко давала, конечно

же, старая корова. Глядя, как Хуан Бяо богатеет на торговле собаками, деревенское отребье от зависти и злости накидывалось на него: «Эх, Хуан Бяо, Хуан Бяо, тебе старая корова как мать! Это вроде бы великое почитание родителей, а на деле ты последний лицемер, ведь если старая корова тебе мать, ты не должен доить ее и кормить щенков – если ты кормишь их ее молоком, разве она не становится собачьей матерью? А если твоя матушка – мать собакам, ты разве не сукин сын? А раз сукин сын, значит, сам пес и есть, верно?» От их непрестанной докучливой болтовни у Хуан Бяо аж глаза на лоб полезли, он не стал разбираться и раздумывать, а схватил заржавевший нож, которым когда-то резал коров, и наставил на них. Те, видя, что дело плохо, пустились наутек, но молодая жена Хуан Бяо давно уже спустила собак, и не очень-то умные мясные собаки со смышленными метисами во главе, как стая пчел, бросились в погоню за ними по кривым улочкам и переулкам, откуда вскоре послышались отчаянные вопли злыдней и бешеный собачий лай. Красотка жена Хуан Бяо залилась смехом, сам он глупо хихикал, почесывая шею. Кожа у нее белоснежная, в то время как у Хуан Бяо смуглая до лаковой черноты, и когда они рядом, черное кажется еще чернее, а белое – белее. Когда Хуан Бяо еще не был женат на ней, он частенько появлялся за полночь под задним окном Дикой Мулихи и распевал песни. «Возвращайся домой, брат, – говорила она. – У меня уже есть мужчина, но тебе я обязательно женушку найду». Эту женщину, которая работала в придорожной лавке, как раз Дикая Мулиха и помогла ему найти.

Когда пришли мясники, торг начался. Они расхаживали вокруг скотины туда-сюда, иногда казалось, что в нерешительности – покупать эту животину или нет; но стоило продавцу протянуть руку с зажатой в ней веревкой на шее коровы, как через пару секунд все мясники уже хватались за нее. Покупатели на всю скотину нашлись молниеносно. Ситуаций, когда двое мясников бились бы за одну корову, почти не было, а случись такое, они могли разрешить спор с головокружительной быстротой. Обычно те, кто занимается одним и тем же – враги друг другу, но у нас в деревне мясники под руководством Лао Ланя сплотились в дружный боевой коллектив, выступавший против врагов. Лао Лань установил свой авторитет, передав мясникам способ впрыскивания воды в туши и объединив этих людей благодаря наживе и беззаконию. Лишь когда мясники хватались за веревку, барышники вальяжно подходили, и начинался торг один на один, неустанная борьба за цену. С тех пор, как установился престиж отца, торг между ними перестал иметь большое значение, постепенно превратился в формальность и привычное действие, потому что решающее слово было за отцом. Поторговавшись, мясник с барышником подводили быка к отцу, словно парочка, которая направляется в городскую управу, чтобы зарегистрировать брак. Однако в тот день ситуация была несколько необычной: появившиеся мясники не устремлялись, как прежде, к сгрудившейся вместе скотине, а разгуливали по краю тока. От их понимающих усмешек становилось не по себе. Особенно когда они проходили мимо отца – дурные предчувствия зарождались от того, что скрывалось за их делаными усмешками, словно готовился какой-то масштабный заговор, и как только придет время, он разразится. Я со страхом тайком поглядывал на отца, он вел себя так же, как всегда, равнодушно покуривал низкосортную сигарету; накиданные ему барышниками хорошие сигареты так и лежали перед ним аккуратной стопкой, он не тронул ни одной. Он и прежде эти сигареты не трогал, а дожидался, когда после завершения торгов их собирали с земли и раскуривали мясники, которые превозносили его честность и беспристрастность.

– Эх, почтенный Ло, – полушутя говорили некоторые, – если бы во всем Китае люди были такие, как ты, коммунизм бы еще несколько десятков лет назад наступил.

Отец молча посмеивался. Всякий раз в такие моменты мое сердце разрывалось от гордости, и я всегда говорил про себя: «Вот так надо делать дело, вот таким надо быть человеком». Барышники тоже поняли, что сегодня что-то не так, бросали взгляды в нашу с отцом сторону и невозмутимо наблюдали за вышагивающими туда-сюда мясниками. Все молча чего-то ждали, как публика терпеливо ждет начала интересного представления.

## Хлопущка седьмая

Шум дождя за воротами постепенно стихал, вспышки молний и раскаты грома тоже ушли куда-то далеко. Весь двор залило, исчезла выложенная гравием дорожка. На поверхности воды плавают зеленые и желтые листья, а также надувная игрушка из пластика. Она вверх ногами, похоже, это маленькая лошадка. Капли дождя падают все реже, пока он не перестает совсем. Из полей налетает ветерок, крона гинкго раскачивается, шелестит, серебристые струйки падают, будто из решета, скопившаяся вода находит тысячи отверстий. Из дупла на середине ствола высовывается парочка тех самых диких котов, мяукнув пару раз, они снова скрываются. Оттуда доносится слабый и болезненный писк котят, и становится ясно, что, пока лило как из ведра, бесхвостая кошка принесла приплод. Как говаривал отец, скотина любит разрешаться от бремени во время ливня. Вижу, как по воде, извиваясь, плывет черная змейка с белым узором. А еще серебристая рыбка храбро выскакивает из воды, плоское тело лемехом изгибается в воздухе, прекрасное и упругое, изящное и гладкое, и со звонким всплеском падает в воду – много лет назад так же звонко мне отвесил оплеуху мясник Чжан своей большущей пятерней, измазанной в свином жире, за стащенный кусок мяса. Откуда эта рыбка взялась? Лишь она об этом и знает. По мелководью рыбам плавать трудно, их зеленоватые спинные плавники торчат из воды. Из ворот храма над моей головой проносится летучая мышь, а за ней еще целая стая. Упавшие передо мной градины, которые я не успел съесть, уже почти полностью растаяли.

– Мудрейший, – говорю я, – скоро стемнеет.

Мудрейший не издает ни звука.

Когда солнце, раскрасневшееся словно лик кузнеца, поднялось над полем пшеницы на востоке, на сцену вышел главный герой. Это был наш деревенский староста Лао Лань: высокий, крепко сбитый, тогда он еще не раздобрел, и пузцо не выпирало, и щеки не выдавались. Желтоватая бородка и усы, глаза тоже желтые, с виду и не скажешь, что чистый китаец. Когда он широкими шагами зашел на ток, все воззрились на него. Озаряемое солнцем лицо, казалось, необычно сияло. Лао Лань подошел к отцу и остановился, но его взгляд был устремлен в поля поверх низкой стены, туда, где только что взошло солнце и разливался ослепительный свет. Зеленели поля пшеницы, распускались и благоухали полевые цветы, в розовом просторе небес заливались жаворонки. Лао Лань даже не взглянул отцу в глаза, словно у стены такого человека и не было. Если на отца он даже не глянул, то на меня, уж конечно, тем более. Может, у него в глазах помутилось от солнечного света? Это я тогда так наивно подумал, но вскоре все понял: Лао Лань действовал вызывающе. Склонив набок голову, он разговаривал с мясниками и барышниками и в то же время, расстегнув молнию брюк своего френча, как ни в чем не бывало вытащил свою черномазую штуковину. Перед моим отцом ударила желтоватая струя. Я тут же учуял горячую вонь. Струя этого пса была далеко, по меньшей мере метров на пятнадцать. Это надо было всю ночь терпеть, чтобы столько излить из себя. Он заранее все продумал, чтобы осрамить отца. Десяток сигарет, лежавших перед отцом, поплыли в луже мочи и очень скоро стали ни на что не похожи. Когда Лао Лань вытащил свой инструмент, мясники с барышниками как-то странно хохотнули, но смех резко оборвался, будто шею им сдавила большая невидимая рука. Они смотрели на нас, раскрыв рты и потеряв дар речи, и на лицах застыла растерянность. Даже те мясники, которые давно знали, что Лао Лань собирается бросить отцу вызов, не думали, что он сделает это таким способом. Мочой нам забрызгало ноги, а отдельные капли попали на лица и губы. Я возмущенно вскочил, отец даже не шевельнулся, застыв словно камень.

– Лао Лань, мать твою ети! – разразился руганью я. Отец не проронил ни звука. На лице Лао Ланя появилась усмешка, он по-прежнему смотрел на всех с высокомерием. Отец прищурился, как благодушный крестьянин, который любит стекающей со стрехи водой. Сделав

свои дела, Лао Лань застегнул молнию, повернулся и зашагал туда, где собралась скотина. Я услышал, как мясники и барышники испустили глубокий вздох, не знаю, в знак чего – досады или удовлетворения. Потом мясники разошлись среди скотины, и очень быстро каждый выбрал то, что хотел купить. Подошли и барышники, стали препираться с покупателями. Я обратил внимание, что препираются они как-то рассеянно, и понял, что мыслями они в основном не на торжище. Прямо в глаза отцу они не смотрели, но было ясно, что каждый про себя думает о нем. А что же мой отец? Сдвинув колени, он уткнулся в них лицом, словно сокол, устроившийся вздремнуть на развилке ветвей. Лица его я не видел и, конечно, не мог знать, какое у него выражение. Я был очень недоволен его слабостью, мне тогда было всего-то лет пять, но я понимал, что Лао Лань очень серьезно унизил отца, любой мужчина, в ком есть хоть капля смелости, не смог бы проглотить такое страшное унижение, даже я, пятилетний мальчик, не побоялся грубо выругаться, а отец не произнес ни звука, словно неживой, словно камень. Торги в тот день закончились, а решающее слово отца так и не прозвучало. Однако продавцы и покупатели по старой привычке стали подходить и бросать ему бумажные деньги. Первым, кто это сделал, был тот же Лао Лань. Этот пес, этот ублюдок, будто не отвел душу, помочившись перед отцом, он еще похрустел в руках новенькими десятиюаневыми банкнотами, словно желая привлечь внимание отца, но отец остался в той же позе, не изменившись в лице. Изобразив еще большее разочарование, Лао Лань обвел всех вокруг взглядом, а потом швырнул эти две бумажки перед отцом. Одна из них опустилась как раз в лужу еще не остывшей мочи этого пса и смешалась с размокшими сигаретами. В тот миг отец для меня уже умер. Он полностью потерял лицо восемнадцати поколений предков нашей семьи Ло. Его вообще нельзя было считать за человека, так, с большой натяжкой можно счесть за размокшую сигаретину в луже мочи этой собаки Лао Ланя. Вслед за Лао Ланем стали подходить и бросать деньги барышники и мясники. Лица полны скорби и сочувствия, будто мы с отцом – особо достойные сочувствия попрошайки. Денег они набросали вдвое больше, чем обычно; ясное дело – награда за то, что отец не противился Лао Ланю и принял его деланое великодушие. Глядя на эти падающие передо мной, как сухие листья, банкноты, я громко разревелся. Тогда отец все же поднял с колен большую голову: на лице ни гнева, ни печали, не лицо, а какая-то высохшая деревяшка. Он холодно глянул на меня, в глазах его сквозило недоумение, словно он не мог понять, с чего это я расплакался. Я вцепился ногтями ему в шею:

– Отец, я не хочу больше тебя отцом называть, лучше Лао Ланя так называть буду! – Говорил я громко, все вокруг на миг замерли, а потом расхохотались. Лао Лань поднял большой палец:

– Молодец, Сяотун, принимаю тебя в сыновья, с этого дня можешь есть и жить у меня, захочешь свинины, приготовим свинины, захочешь говядины – будет тебе говядина. А если мамку с собой приведешь, тем более приму с распростертыми объятиями!

Большого унижения придумать было невозможно, и я бросился на бедро Лао Ланя. Тот молниеносным движением легко уклонился, и я растянулся на земле, разбив до крови губу.

– Ах ты, паршивец! – захохотал Лао Лань. – Только что отцом признал, и на тебе, драться. Кому такой сын нужен?

Никто не протянул мне руку, пришлось вставать самому. Я вернулся к отцу и пнул его по ноге, чтобы излить свое недовольство. Отец ничуть не рассердился, он даже ничего не понял и большими ослабевшими руками потирал лицо. Потом вытянул их и зевнул, как вконец облепившийся старый кот. Затем опустил голову и принялся неторопливо, сосредоточенно, тщательно, одну за другой подбирать купюры из лужи мочи этого пса Лао Ланя. Взяв одну, он поднимал ее и рассматривал в солнечном свете, будто проверяя, не фальшивая ли. Наконец, потер о штаны, старательно очищая брошенные Лао Ланем в грязь новенькие бумажки. Положил деньги на колено, разгладил, зажал средним и безымянным пальцами левой руки, поплевал на животе на большой и указательный пальцы правой и стал вслух пересчитывать. Я рванулся к

нему с намерением выхватить деньги, разорвать в клочки и швырнуть в воздух, лучше всего, конечно, в лицо Лао Ланю, чтобы хоть немного рассеять унижение, которое обрушилось на нас. Но отец проворно вскочил, высоко подняв зажатые в руке деньги и громко бормоча:

– Сынок, глупенький, что ты делаешь? Деньги ни при чем, это люди виноваты, не надо на деньги сердчать.

Левой рукой я тянул его за изгиб предплечья, подняв правую как можно выше и подпрыгивая, чтобы вырвать у него из руки эти унижительные деньги, но я доставал высоченному отцу лишь до подмышки, и моим замыслам никак не суждено было сбыться. Разозленный донельзя, я раз за разом тыкался головой ему в пояс. Отец миролюбиво потрепал меня по голове:

– Будет, будет, сынок, не кипятись, вон туда посмотри, видишь, вол лаоланевский уже завелся.

У этого здоровенного рыжего вола с запада Шаньдун были ровные прямые рога, атласная шкура, а мускулы так и ходили под кожей, как у чемпионов-культуристов, которых я позже видел по телевизору. Все тело золотистое, а морда диковинно белая, такую у вола я видел впервые. Он косился на людей глазами с красной поволокой с таким выражением, что становилось страшно. Вспоминая сейчас об этом, я думаю, что подобное выражение глаз, наверное, было у легендарных дворцовых евнухов. У людей после кастрации меняется характер; наверное, меняется и норов у выхолощенных быков. Отец своей подказкой заставил меня на время забыть о деньгах, и я, повернувшись, стал смотреть, как бык следует в поводу за Лао Ланем, вышагивающим с сияющей физиономией. Еще бы ему не быть довольным – унизил нас дальше некуда, а никакого отпора не встретил, вот уж огромное подспорье для укрепления его авторитета в деревне и среди торговцев скотом! Одолел единственного человека, который его ни во что не ставил, и теперь никто в деревне не осмелится бросить ему вызов. Однако тут произошло потрясающее событие, о котором и через много лет я вспоминаю, не зная, верить этому или нет. Неторопливо шагавший вол вдруг остановился, и Лао Лань, обернувшись, с силой потянул за веревку, чтобы заставить его идти дальше. Но тот стоял как вкопанный и, несмотря на все старания Лао Ланя, даже с места не двинулся. Лао Лань был мясник, и одного его запаха было достаточно, чтобы затрепетал от ужаса робкий теленок, не говоря уже о таком упрямом воле, которому перед ним только и оставалось покорно ожидать конца. Не сумев сдвинуть вола с места, он зашел сбоку и с силой рубанул его по крупу ладонью, одновременно гаркнув так, что обычная скотина даже обделаться смогла бы от страха. Но этот рыжий лусийский<sup>23</sup> здоровяк оказался ему не по зубам. Только что одержавший великую победу над отцом Лао Лань, как кичливый солдат, не учел норова животины и пнул его в брюхо. Рыжий лусиец мотнул задом, взревел и, опустив голову, поддел мясника рогами. Вроде бы особых усилий он не прилагал, но Лао Лань, как ничего не весящая плетеная циновка, взлетел в воздух и распластался на земле. Это произошло так внезапно, что все барышники и мясники на току застыли, разинув рот и не в силах сказать ни слова, но никто на выручку Лао Ланю не поспешил. Рыжий великан снова бросился вперед, пригнув голову, но Лао Лань, человек все же незаурядный, в последний момент перекатился и увернулся от губительных рогов. Вол с налившимися кровью глазами предпринял еще одну атаку, но Лао Лань, который был на волосок от смерти, проявил чудеса изворотливости и, в конце концов, воспользовавшись случаем, вскочил на ноги. Похоже, он был ранен, но незначительно. Он стоял напротив вола, согнувшись, выпучив глаза и не смея отвести взгляд. Вол снова опустил голову, изо рта у него текла белая пена, он хрипло и тяжело дышал, готовый в любой момент броситься на врага. Лао Лань поднял руку, видимо, чтобы отвлечь внимание вола и произвести впечатление силы при внутренней слабости, он напомнил перепуганного насмерть матадора, который из последних сил пытается спасти репутацию. Он переступал с ноги на ногу, а вол величественно застыл, лишь еще ниже склонив огром-

---

<sup>23</sup> *Луси* – так называют западную часть провинции Шаньдун.

ную голову, готовый к новому раунду схватки. В конце концов Лао Лань отставил геройство, повернулся и с воплем напускной бравады бросился наутек. Вол, раскидывая ноги в стороны, ринулся за ним с торчащим, как железный прут, хвостом. Куски земли летели у него из-под ног, как осколки снарядов. В панике Лао Лань устремился в гущу толпы, надеясь обрести в ней защиту, но кому в тот момент было до него? Все с дикими воплями разбежались кто куда, жалея лишь, что от родителей им не досталось второй пары ног. Хорошо еще, что вол различал людей и преследовал одного Лао Ланя, не вымещая свою злость на других. Барышники с мясниками улепетывали так, что пыль столбом стояла: кто забрался на стену, кто залез на дерево. Ничего не соображавший от страха Лао Лань в конечном счете устремился к нам с отцом. Отец мгновенно ухватил меня одной рукой за шкурку, другой за зад и с маху закинул на стену. Как раз в этот момент подлец Лао Лань спрятался у отца за спиной. Отец хотел метнуться в сторону, но тот крепко вцепился в одежду, держа перед собой как щит. Отец отступил назад, Лао Лань тоже отпрянул, пока не уперся в стену. Отец помахал перед глазами вола зажатými в руке деньгами, приговаривая:

– Волушка-вол, мы с тобой не враги и раньше в мире жили, что ни случится, сядем рядком да поговорим ладком...

В мгновение ока отец швырнул деньги и, целясь вола в глаза, почти одновременно рванулся к его голове, воткнул пальцы в ноздри, ухватился за кольцо в носу и высоко задрал его. Почти весь скот, который пригоняли торговцы из западных краев, был тягловым, пахотным, а таким животным вдевали кольца в нос, самое чувствительное место. Отец добрым крестьянином не был, но в скотине разбирался получше любого успешного хозяина. Сидя на стене, я еле сдерживал слезы: «Отец, как я горжусь тобой, ты в критический момент проявил такой ум и отвагу, смыл позор и вернул себе доброе имя». Тут сбежались мясники и торговцы и помогли отцу уложить рыжего вола с белой мордой на землю. Чтобы он не поднялся и никого не поранил, один мясник резво, как заяц, сбегал домой, принес нож и вручил Лао Ланю. Тот с бледным лицом отступил на шаг и отмахнулся, мол, действуй сам. Мясник поднял нож и помахал им в воздухе:

– Ну, кто возьмется? Нет желающих? Если нет, я церемониться не буду.

Он засучил рукава, пару раз вытер нож о каблук, потом присел, зажмурил один глаз, как плотник с отвесом, нацелился на впадинку на груди у вола и резко всадил лезвие. Когда он вытащил нож, отца обдало струей горячей крови.

Вол испустил дух, и все стали неторопливо подниматься с его туши. Из раны с бульканьем, как из родника, вырывалась темно-красная пузырящаяся кровь, в чистом утреннем воздухе разносилась обжигающая ноздри вонь. Люди казались какими-то опустошенными, как сдувшиеся резиновые мячи. Всем много чего хотелось сказать, но никто не раскрывал рта. Отец, втянув голову в плечи, обнажил желтый ряд крепких зубов:

– Правитель небесный, перепугал меня до смерти! – Все взгляды устремились на Лао Ланя, а тот не знал, куда деваться, и чтобы скрыть смущение, смотрел вниз на вола. У того ноги вытянулись, беспрестанно подрагивала нежная кожа на внутренней стороне бедра, один голубой глаз был широко распахнут, словно он еще не излил злобу.

– Мать твою, – пнул вола Лао Лань, – всю жизнь бил диких гусей, а тут один гусенок чуть глаза не выклевал! – И поднял глаза на отца: – Я сегодня перед тобой в долгу, Ло Тун, но наши дела еще не завершены.

– Какие еще дела между нами? – удивился отец. – Никаких дел между нами вообще быть не может.

– Не смей трогать ее! – яростно выдохнул Лао Лань.

– Я ее и не трогаю, – ответил отец, – это она позволяет себя трогать, – он довольно усмехнулся: – Она тебя псом называет, говорит, что больше не позволит тронуть ее.

Тогда я не понимал, о чем они говорят, это только потом я понял, что речь шла о державшей небольшой ресторанчик Дикой Мулихе. А тогда я спросил:

– Пап, вы о чем говорите? Что трогать?

– Детям не пристало вступать в дела взрослых! – отрезал отец.

А Лао Лань подхватил:

– Ты, сынок, ведь со мной, с семьей Лань. Чего же ты его папой называешь?

– Кусок собачьего дерьма вонючего, вот ты кто! – бросил я.

Но Лао Лань продолжал:

– Вернешься домой, сынок, скажи матери, что папочка твой забился к Дикой Мулихе и выходить не хочет!

Тут отец расвирепел, ну совсем как тот вол, и, опустив голову, бросился на Лао Ланя. Сцепились они очень ненадолго, народ быстро растащил их, но за это время Лао Лань успел сломать отцу палец на руке, а отец откусил ему пол-уха, выплюнул и злобно бросил:

– Еще смеешь моему сыну говорить такое, пес поганый!

## Хлопущка восьмая

Неслышно появившаяся женщина скользнула в узкое пространство между мной и мудрейшим. Складками одежды она чуть задела мне кончик носа, а ее прохладная голень коснулась моей коленки. В полном смятении я даже дар речи потерял. В просторном длинном халате из грубой ткани, держа в руках старинный медный тазик, в котором омывал лицо мудрейший, она зашла в большую лужу посреди двора. Худое лицо было обращено ко мне боком, на нем играла еле различимая улыбка. В разрыве сплошной пелены черных туч показалось розоватое небо. К западу на золотисто-красном фоне вспыхнули багровые облака. В небе мерцающими крупинками кружили жившие в храме летучие мыши. Лицо женщины отливало блеском. Ее халат сшит из домашней холстины, запах на груди, ряд медных пуговиц. Нагнувшись, она опустила полный одежды тазик, и он тяжело закачался на воде. Она прошла по двору, загребая ногами. Воды было ей по голень. Она подняла обеими руками полы халата, обнажив золотистые бедра и белый зад. Я с изумлением обнаружил, что, кроме халата, на ней ничего нет. То есть скинь она этот халат – и останется абсолютно голой. Халат мог принадлежать лишь мудрейшему. Его хозяйство я знал, как свои пять пальцев, но этого халата никогда не видел. Где, интересно, она его нашла? Вспомнилось, что, когда она только что проходила мимо, от халата пахло плесенью. Теперь этот запах разнесся по всему двору. Она походила немного и, определившись, направилась к углу стены. Шла она торопливо, громко расплескивая воду. За ее спиной снова выскочила и плюхнулась в воду рыбка. Чтобы не забрызгаться, она высоко задрапа полы халата, обнажив зад во всей красе. Добравшись до угла и придерживая левой рукой полы халата, она нагнулась, выгребла правой рукой ветки и траву, забившиеся в водосток, и выбросила все это за стену. Обращенные к пылающим на западе облакам, ее ягодички сверкали как медные тарелки в оркестре. Вода с шумом хлынула по водостоку, она выпрямилась и отскочила в сторону, глядя на бурлящий поток. Вода потекла со двора в ее сторону, неся опавшие листья и пластиковую лошадку. Тазик с одеждой переместился на несколько метров и сел на мель. Постепенно стало видно рыбку: сначала она еще могла бороться с течением, но вскоре уже лежала плашмя и трепыхалась, брызгаясь во все стороны. Я почти слышал ее пронзительный вопль. Сперва показалась выложенная гольшами дорожка, затем бурая поверхность земли. В иле прыгала лягушка, кожа внизу рта у нее беспрестанно подрагивала. В канаве за стеной раздавался целый лягушачий хор. Женщина отпустила полы халата, которые до этого придерживала рукой. Разгладила складки мокрыми руками. Тут перед ней выпрыгнула рыбка. Она смотрела на нее пару секунд, покосившись в мою сторону. Я, конечно, не мог сказать ей, как распорядиться жизнью этой несчастной рыбки. Она пробежала несколько шагов, оскальзываясь и чуть падая на иле, и обеими руками прижала непокорную рыбку к земле. Встала, держа ее двумя руками, и еще раз глянула на меня. Потом вздохнула в лучах зарева, охватившего полнеба, и, словно нехотя, швырнула ее прочь. Рыбка вильнула хвостом в воздухе, перелетела через стену и исчезла. Но эта золотистая мерцающая дуга запечатлелась в моем сознании надолго. Женщина вернулась к тазу, вытащила платье, взялась за воротник и с такой силой встряхнула, что треск пошел. Это красное платье в свете алой вечерней зари походило на язык пламени. Из-за ее сходства с тетей Дикой Мулихой мне казалось, что между нами существует какая-то особая связь, необычная близость. Хотя мне уже почти двадцать, глядя на женщин, я все еще чувствую себя мальчиком лет семи-восьми, но сердечное волнение и нередко вскидывающая голову шутовина между ног убеждают меня, что я уже не ребенок. Красное платье она пристроила на чугунной курильнице напротив ворот, а остальные вещи разложила на мокрой стене. И стала подпрыгивать, чтобы дотянуться и расправить их. Я смотрел, как энергично подскакивает ее гибкая поясница. Затем она подошла к воротам храма, встала, словно у ворот своего дома, развела руки в стороны, будто чтобы сделать упражнение, положила их

на пояс и принялась раскачиваться в стороны и вертеть задом. Она словно терлась им о что-то невидимое. Я был не в силах отвести от нее глаз, но могло ли это стать настолько важным для послушника мудрейшего, чтобы вынудить его принести жертву? «Если она захочет убежать со мной в далекие края, – подумалось мне в тот момент, – как тогда заманила с собой отца тетя Дикая Мулиха, смогу ли я отказаться?»

Мать велела закрыть задний борт кузова мотоблока, а сама приволокла от угла стены пару корзин с коровьими и овечьими костями. Взявшись одной рукой за край корзины, а другой за дно, она выпрямлялась и ставила их в кузов. Кости обгрызали не мы, их мы собирали среди отбросов. Оставайся у нас после еды столько костей, пусть даже сотая часть этого, стал бы я печалиться, и об отце даже не вспоминал бы, твердо занял бы позицию матери и вместе с ней рассуждал бы, какие они с Дикой Мулихой злодеи. Я не раз пытался расколоть вроде бы свежие бычьи берцовые кости, чтобы полакомиться костным мозгом, но куда там – продавцы костей давно уже сами все подчистили. Загрузив кости в кузов, мать заставила меня помогать ей грузить металлолом. Это был и не бросовый металл вовсе, а детали машин в идеальном состоянии. Встречались и маховики от дизельных двигателей, и разъемы от строительных лесов, и крышки от городских канализационных люков – всякого добра вдоволь. Однажды даже японский миномет попался, его привезли на муле старик восьмидесяти с лишним лет вместе с семидесятилетней женой. Поначалу у нас опыта не было, но раз уж принимаешь утиль, надо его и продавать, разница в цене грошовая, но и это был заработок. Хотя мы быстро наловчились. Все поступавшие детали классифицировали и сбывали в городе самым разным компаниям: строительные детали – строительным компаниям, канализационные люки – водопроводной, детали механизмов – компаниям, которые занимались металлоизделиями и электротехникой. Не нашлось, правда, подходящей компании, куда можно было бы пристроить миномет, и его, как драгоценность, на время оставили дома. Покупателя не нашлось, но и я был решительно против его продажи. Как и остальным мальчишкам, мне нравилось все военное, и я был без ума от оружия. Безотцовщина, я и головы не мог поднять перед сверстниками, но с тех пор, как у нас появился миномет, я уже больше не горбился и задираю нос перед теми, у кого отцы были. Помню, слышал, как двое парней, известных в деревне своими разнузданными выходками, втихаря рассуждали, что, мол, теперь Ло Сяотуна просто так задеть нельзя – у них там миномет куплен, обидит кто, так он миномет на дом обидчика наведет, шарахнет – и нет дома. Услышав такое, я просто ног под собой не чуял от восторга. Мы продавали специализированным компаниям этот утиль, который и утилем-то не был, по ценам, гораздо более низким в сравнении с такими же оригинальными деталями, но они все же были значительно дороже настоящего утиля, и в основном по этой причине мы смогли за пять лет покрыть крышу черепицей.

Погрузив металлолом, мать вытащила из пристройки драные картонные коробки, разложила их на земле и велела мне накачать воды из колодца. Этим я занимался не впервой и знал, что ранним утром рукоятка чугунного колодца ужасно холодная и можно замочить руки. Поэтому натянул негнущиеся рабочие рукавицы из свиной кожи. Эти рукавицы у нас появились, тоже когда мы стали утиль собирать. Того же происхождения и большинство вещей у нас в доме – от подушки с поролоновым наполнителем на кане до поварешки в котле. На самом деле некоторые вещи не были в употреблении: мою шапку, подбитую цигейкой, никто не носил, хотя она настоящая армейская, с резким запахом камфоры и красной квадратной бирочкой производителя с датой выпуска «ноябрь 1968 года». Отец в то время еще под себя ходил, мать тоже, а меня вообще не было. В больших рукавицах руки неуклюжие. На улице холодина, кожаная прокладка насоса замерзла, с писком пропускает воздух почем зря, вода качается плохо. Мать сердито покрикивает:

– Быстрее давай, что копаешься? Говорят, у бедняков дети рано хозяевами становятся, но когда тебе десять лет и ты даже воды накачать не можешь, какой прок тебя кормить? Вот только поесть и горазд, все ешь, ешь, ешь, если б хоть половину своих сил, которые тратишь на

еду, обратил бы на работу, то стал бы ударником труда, ходил бы весь в алых шелковых лентах и с красным цветком на груди...

От занудного пиления матери в душе все аж кипит. «Пап, с тех пор, как ты ушел, я ем всякую дрянь, как свинья или собака, одеваюсь, как нищий, работаю как вол, а она все равно недовольна. Пап, ты, когда уходил, выражал надежду на вторую земельную реформу, я теперь на нее еще больше тебя надеюсь, но что-то она задерживается, все нет ее и нет, а эти незаконно разбогатевшие все больше распоясываются, совсем страх потеряли». После ухода отца мать прозвали «королевой утиля». Меня же хоть и знают, как ее сына, на самом деле я – ее раб. Когда пиление матери сменяется яростной руганью, я теряю самоуважение и веру в себя. Стаскиваю защищающие кожу рукавицы, хватаюсь голой рукой за ручку – р-раз! – и ладонь пристала. Стынь, стынь, ручка насоса, накрепко приставай к моей руке. Пусть все будет как будет, как говорится, разбивай кувшин, он все равно треснул, наплевать на все, замерзну насмерть, и не будет у нее сына, а не будет сына, то какой смысл во всех этих ее черепичных крышах и грузовиках. Она еще лелеет мечту в скором будущем просватать меня, уже знает, за кого, это светловолосая дочка Лао Ланя, старше меня на год. Детское имя у нее Тяньгуа – Сладкая Дыня, а взрослого еще нет, выше меня на голову, вечно с насморком и круглый год с двумя желтыми соплями. Мать спит и видит, как бы выгодно породниться с семьей Лао Ланя, у меня же руки чешутся разнести его дом из миномета. Мечтай, мечтай, матушка! Сжимаю ручку насоса, кожа мгновенно пристаёт. Приставай, приставай, все одно – это сначала рука ее сына, а потом уж моя. Наваливаюсь на ручку, насос урчит, бьет струя, от которой идет пар, и с бульканьем льется в ведро. Припадаю к воде и выпиваю пару глотков.

– Не смей пить холодную воду! – кричит мать. Не обращаю на нее внимания и пью дальше. Надуться бы так, чтобы живот заболел, чтобы от боли кататься по земле, как замученный ослик. Приношу ей воду, она посылает меня за ковшом. Приношу ковш, она велит поливать картон. Лить не слишком много и не слишком мало. Вода быстро превращается в лед, она настигает сверху еще один слой картона, и я опять поливаю. Этим мы занимались много раз, понимали друг друга без слов, рука уже набита. Такой картон весит немало, поливаю я картон водой, а получают деньги. Мясники в деревне впрыскивают воду в мясо и тоже получают деньги. После того, как отец сбежал, мать, пройдя через страдания, сделалась сильнее, задумала заняться забоем скота и пошла учиться к Сунь Чаншэну, взяв меня с собой. Жена Сунь Чаншэна приходилась ей дальней родственницей. Но это ремесло, когда лезвие входит в плоть белым, а выходит красным, в конечном счете не для женщин, мать по духу человек выносливый и трудолюбивый, но куда ей до тетушки Сунь, настоящего демона в женском обличье. С тем, чтобы резать поросят и ягнят, мы с матерью еще кое-как справлялись, но вот с крупной скотиной было тяжело. Большие животные тоже воздействовали на нас, выпучивали глаза, хотя в руках у нас были блестящие ножи. И Сунь Чаншэн сказал матери:

– Эта работа, тетушка, тебе не подходит. В городе сейчас ратуют за мясо высшего качества, химичить с мясом долго не удастся, мы, мясники, зарабатываем на впрыскивании воды, как только это запретят, никакого заработка не будет.

Он и уговорил ее собирать утиль, отметив, что эта работа совсем не требует начального капитала – только прибыль и никаких убытков. Мать это дело изучила и решила, что Сунь Чаншэн прав, вот мы и занялись сбором утиля. И через три года обрели славу королей утиля на тридцать ли вокруг.

Мы подняли замерзшие листы картона в кузов, привязали со всех сторон, и на этом погрузка закончилась. Сегодня цель нашей поездки – уездный центр. Туда мы ездили раз в три-пять дней, и всякий раз это причиняло мне страдания. Столько там вкусностей, я за двадцать ли чувствовал разносившиеся ароматы не только мяса, но и рыбы, но ни то ни другое было не про мою честь. Наш рацион мать приготовила уже давно: пара холодных булочек и горка соленых овощей. Если удавалось сбуть утиль по хорошей цене, преодолев все ухищрения

и очковтирательства (тогда скупавшие утиль компании по производству местной продукции тоже становились все опытнее, опасались, что их одурачат поставщики утиля из разных мест), то настроение у нее было прекрасным, и я мог получить в награду свиной хвостик. Мы устраивались на корточках за воротами компании, где не было ветра – а летом в тени дерева, и, вдыхая десятки самых различных ароматов, доносившихся с боковой улочки, жевали свои холодные пирожки с овощами. Эта улочка была мясная, обжорная, там под открытым небом стояли с десятков больших котлов, где готовили свиные, бараньи, говяжьи, ослиные, собачьи головы, свиные, бараньи, говяжьи, ослиные, верблюжьи ножки, свиную, баранью, говяжью, ослиную, собачью печень, свиное, баранье, говяжье, ослиное, собачье сердце, свиные, бараньи, говяжьи, ослиные, собачьи желудки, свиной, бараний, говяжий, ослиный, собачий ливер, свиные, бараньи, говяжьи, ослиные, собачьи легкие, свиные, бараньи, ослиные, верблюжьи хвосты. А еще там жарили кур, гусей, варили уток в маринаде, варили в рассоле кроликов, жарили голубей, готовили воробьев во фритюре... На кухонных досках было разложено пышущее жаром мясо во всем многообразии. Одни вооруженные сверкающими ножами продавцы резали эту вкуснятину на ломтики, другие нарезали мясо кусками. Лица у всех багровые, маслянистые, выглядят они на ять. Пальцы у одних толстые, у других тонкие, короткие и длинные, но все благословенные. Они могут поглаживать, как хотят, это мясо, они все в жире от него, от них пахнет им. Превратиться бы в пальцы этих продавцов, вот было бы счастье! Но я в эти благословенные пальцы не превращаюсь. Несколько раз в голову приходит мысль протянуть руку, стащить кусок мяса и запихнуть в рот, но меня всякий раз останавливает большой нож в руках продавцов. Я грызу под ледяным ветром черствый стылый пирожок, и слезы текут из глаз. Когда мать жалуется мне свиной хвостик, чувства отчасти изменяются к лучшему, но много ли на хвостике мяса? Раз-два, и сгрыз все начисто. Даже маленькие косточки пережевываю и проглатываю. От хвостика алчущий мяса червь в желудке еще больше возбуждается. Я не в силах отвести взгляд от всего этого мяса, которое переливается всеми цветами радуги и щекошет ноздри ароматами, и беспрестанно текут и текут слезы.

– Что ты все плачешь, сынок? – спрашивает мать.

– Мам, я о папе думаю, – отвечаю я. Она тут же меняется в лице. И, задумавшись, печально усмехается:

– Ты, сын, не об отце думаешь, а о мясе. Думаешь, сможешь обмануть меня, мелочная твоя душонка? Но вот сейчас я удовлетворить твои желания не могу. Человеческое чрево ублажить дорогими яствами легче легкого, но сразу хлопот не оберешься. С древних времени немало героев, ублажая желудок, утратили решимость стать человеком, погубили собственные великие начинания. Не плачь, сынок, я обещаю, и в твоей жизни настанет время, когда ты сможешь наесться мясом от пуза, а сейчас надо потерпеть, пока мы не построим дом, купим грузовик, найдем тебе жену, пусть твой убудочный папаша посмотрит, я тебе целого быка зажарю, чтобы ты забрался в него и выедал изнутри!

– Мам, не надо мне дома, не надо грузовика, а тем более жены, я хочу лишь сейчас наесться мяса от пуза!

Мать строго посмотрела на меня:

– А мне, думаешь, поесть как следует не хочется, сынок? Я тоже человек, так и хочется целую свинью проглотить! Но человеческая жизнь – борьба, вот я и хочу показать твоему отцу, что без него мы заживем еще лучше, чем с ним!

– Да я лучше буду с отцом скитаться и милостыню просить, чем жить с тобой такой жизнью.

Мои слова страшно огорчили ее, и она заплакала:

– Я стараюсь жить скромно и умеренно, чтобы отомстить за причиненное нам зло, и ради кого все это? Да ради тебя, убудок мелкий! – А потом стала честить отца: – Эх, Ло Тун, Ло Тун, подонок ты, елдой черного мула деланный, всю жизнь с тобой загубила... Я ведь тоже

была бы хороша, коли сладко ела бы да пила, было бы всего вдоволь, то и глаза бы блестели, и ни в чем бы не уступала этой шлюхе!

– Ты, мама, совершенно верно говоришь, – сказал я, растроганный жалобами матери, – начни ты есть мясо от пуза, то, бьюсь об заклад, не пройдет и месяца, как ты превратишься в богиню, гораздо красивее Дикой Мулихи, тогда отец бросит ее и мигом вернется к тебе как на крыльях.

Мать подняла на меня полные слез глаза:

– Сяотун, скажи, я правда красивее Дикой Мулихи?

– Конечно, красивее! – заверил ее я.

Мать спросила:

– А если я красивее, то почему твой папаша нашел себе эту Дикую Мулиху, с которой кто только ни забавлялся? И не только нашел, но еще сбежал с ней?

Я принялся отца выгораживать:

– А отец, я слышал, говорил, что не он Дикую Мулиху искал, а она его нашла.

– Какая разница! – вспыхнула мать, – Сучка не подставит, кобель не вставит; у кобеля не клеится, сучка даром стелется!

– Ты, мама, то про одно, то про другое, совсем запутала.

– Ты дурачком-то не прикидывайся, ублюдок мелкий. Давно ведь знал, что папаша твой с Дикой Мулихой шашни завел, а все помогал ему дурачить меня. Сказал бы мне, я бы не дала ему сбежать.

– Мам, а каким образом ты не дала бы ему сбежать? – осторожно поинтересовался я.

Мать вытаращила на меня глаза:

– Ноги бы ему отрубила! – Я испугался и в глубине души порадовался за отца. А мать все не унималась: – Ты все же не ответил, почему твой папаша за ней приударил, если я красивее?

– Тетя Дикая Мулиха каждый день готовит мясо, папа учуял запах, вот и пошел.

Мать холодно усмехнулась:

– Значит, если я с сегодняшнего дня начну ежедневно готовить мясо, он может учуять запах и вернуться?

– Ясное дело, – обрадовался я, – это уж как пить дать, как станешь ежедневно готовить мясо, отец быстро вернется, у него нюх знаешь какой: против ветра на восемьсот ли учует, а по ветру на все три тысячи. – Я агитировал мать силой всего своего красноречия в надежде, что у нее не будет оснований гневаться, что она поведет меня на эту обжорную улочку, вытащит хранящиеся где-то деньги, накупит целую гору ароматного и нежного мяса, чтобы дать мне наесться от души, пусть я помру от переедания, но стану духом благородным, с полным живото́м мяса. Но мать на мои уловки не поддавалась, крякнула с досады и продолжала, сидя на корточках, глодать стылый пирожок. Увидев, как безгранично я ценю ее мнение, она с неохотой подошла к крайней лавке на этой улице, долго препиралась с хозяином, наплела с три короба, что наш отец умер, оставив нас, вдову с сыном, плакалась, плакалась, в конце концов, потратила на один мао меньше и купила тощий свиначий хвостик, похожий на высохший стручок фасоли. Крепко зажав его в руке, будто он мог взмахнуть крыльями и улететь, она вернулась в наш укромный уголок и вручила мне его со словами:

– На, ешь, чертяка прожорливый, только потом тебе хорошо потрудиться придется!

## Хлопущка девятая

Женщина сидит на порожке, опершись о ворота плечом, одна нога во дворе, другая на улице, губы сжаты, уставилась на меня, будто слушает, что я рассказываю. Она то и дело морщит почти сросшиеся брови, будто вспоминает об отдаленном прошлом. Продолжать рассказ под внимательным взглядом этих черных глаз непросто. Меня и тянет к ее глазам, и при этом я не смею взглянуть в них. Все тело напряжено под их острым взглядом, губы словно онемели. Очень хочется о чем-нибудь поговорить, расспросить, как ее зовут, кто она такая. Но смелости недостает. Хотя просто горю желанием стать ближе. Пожираю глазами ее ноги, колени. На ляжках какие-то синюшные пятна, на колене четко виден шрам. Она так близко, что идущий от нее аромат свежеприготовленного мяса проникает в меня, прямо за душу берет. Ах, как я весь устремлен к ней, руки так и чешутся, губы зарятся, приходится сдерживать жгучее желание броситься к ней, обнять, ласкать ее, позволить ей ласкать меня. Хочется прижаться ртом к ее груди, чтобы она напоила меня молоком, хочется быть мужчиной, а еще больше хочется стать ребенком, тем ребенком лет пяти. В сердце всплывают картины прошлого. Прежде всего вспоминаю, как вместе с отцом иду домой к тете Дикой Мулихе есть мясо. Как отец, пользуясь тем, что я увлечен едой, тайком целует тетю Дикую Мулиху в розовую шею, как тетя Дикая Мулиха перестает резать мясо, отпихивает его задом и говорит негромко, с хрипотцой:

– Кобель несчастный, ребенок же видит...

Слышу слова отца:

– Ну и пусть видит, наши отцы – братья...

Вспоминаю, как вырывается горячий пар из котла с мясом, как туманной дымкой распространяется вокруг аромат... Вот и смерклось, одеяние, что сушится на чугунной кадилнице, уже не красное, а темно-фиолетовое. Летучие мыши летают ниже, гинкго отбрасывает на землю массивную тень. На иссиня-черном небосводе выглянули мерцающие звезды. В храме зазвенели комары, опираясь на руки, неторопливо поднимается мудрейший. Он заходит за стацию. Перевожу взгляд на женщину, она уже вошла и проследовала за мудрейшим. Я иду вслед. Мудрейший достает зажигалку, шелкает ею, зажигает толстую белую свечу и вставляет ее в залитый оплавленным воском подсвечник. В золотистом огоньке зажигалки вижу, что эта вещь фирменная и недешевая. Женщина держится уверенно, как говорится, будто едет в легкой повозке по знакомой дорожке, будто у себя дома. Берет подсвечник и проходит в каморку, где спим мы с мудрейшим. На печке, которую мы топим угольными брикетами и на которой готовим еду, стоит черный стальной котел, в нем уже кипит вода. Она опускает подсвечник на темно-красную квадратную табуретку и молча смотрит на мудрейшего. Мудрейший подбородком указывает на балку. Там я вижу пару колосьев, в пламени свечи они покачиваются, как хвостики хорьков. Она забирается на табуретку, сдирает три щепотки, потом прыгивает, трет в ладони, снимая мякину, подносит ко рту, сдувает, и в руке у нее остается пара десятков золотистых зерен. Она кидает их в котел и накрывает крышкой. Потом усаживается и спокойно восседает в тишине. Мудрейший застыл на кане и тоже не говорит ни слова. Муха, сидевшая у него на ухе, уже когда-то успела улететь, выявив истинный облик уха. Оно у мудрейшего тонкое, прозрачное, с виду будто и ненастоящее. «Может, муха всю кровь у него из уха высосала?» – размышляю я. Над головой беспрестанно звенят комары, а еще множество блох, они тыкаются в кожу лица, а некоторые успевают даже в глотку провалиться, стоит мне раскрыть рот. Я трясую рукой, почувствовав, что в ладони полно блох и прочей живности. Вырос я в деревне, где занимаются убоем скота, откуда из-за всей этой бойни взяты познаниям в добродетели, но раз уж пришел к мудрейшему с просьбой взять в ученики, нужно, как минимум, держаться правила не лишать никого жизни. Я разжимаю ладонь и отпускаю всех, летающие пусть улетают, а прыгающие скачут прочь.

По деревне разнесся предсмертный свинячий визг, это взялись за дело мясники. Поплыли ароматы готовящегося мяса, это принялись готовить товар продавцы мясных изделий. Погрузку мы закончили и вскоре должны были тронуться в путь. Мать вытащила из-под сиденья водителя заводную ручку, вставила в крестообразное отверстие в передней части мотоблока, глубоко вздохнула, нагнулась, расставила ноги и принялась крутить изо всех сил. Первые несколько оборотов дались с трудом: все замерзло, но мало-помалу раскручивалось. Тело матери то вздымалось, то опускалось, действовала она решительно, по-взрывному, совсем как мужчина. Маховик дизеля поворачивался с шипением, выхлопная труба натужно кашляла. Израсходовав до конца первые запасы сил, мать резко выпрямилась, она тяжело дышала, будто ныряльщик, появившийся на поверхности воды. Маховик крутнулся пару раз и остановился, первая попытка оказалась неудачной. Я знал, что с первого раза не заведешь, после двенадцатого месяца запуск двигателя стал для нас с матерью самой большой головной болью. Мать умоляюще глянула на меня в надежде на помощь. Я взялся за ручку, крутанул изо всех сил, и маховик начал набирать обороты, но, прокрутив пару раз, я почувствовал, что полностью изнемог, да и откуда взяться силам у человека, который круглый год не ест мяса? Я ослабил хватку, ручка отскочила назад и сбила меня на землю. Мать испуганно вскрикнула и бросилась ко мне. Я притворился мертвым и в душе был очень доволен. Если бы эта ручка зашибла меня насмерть, то в первую очередь зашибло бы ее сына, а потом уже – меня самого. Что можно вспомнить хорошего о жизни без мяса? По сравнению со страданием от невозможности поесть мяса, что такое удар заводной ручкой? Мать подняла меня, осмотрела тело сына с ног до головы, убедилась, что все цело, оттолкнула меня в сторону, и в ее словах звучало: «Чего еще от тебя можно ждать?»:

– Подыхать, так в сторону давай, барахло никудышное!

– У меня сил нет!

– И куда же это они все делись?

– Отец говорил, что, если мужчина не ест мяса, у него ненадолго сил хватит!

Она лишь сплюнула и снова взялась за ручку. Тело заплясало вверх-вниз, волосы развевались за головой, как коровий хвост. Обычно с третьего-пятого раза допотопный дизель с неохотой откликнулся, тяжело дыша, как горный козел с трахеитом. Но сегодня он не откликнулся, а поклялся – не откликнусь и всё. День был самый холодный с наступления зимы: небо плотно закрыто темными тучами, в воздухе сырость, северный ветер такой силы, что лицо будто ножом режет, может, вот-вот пойдет снег. В такую погоду и дизель не желал отправляться в путь. Мать раскраснелась, широко разевала рот, тяжело дыша, на лбу выступили капельки пота. Она с ненавистью смотрела на меня, будто я произвожу такие не схватывающие искру дизели. Я изображал, что страшно переживаю, но про себя радовался. Не было никакого желания в такую жуткую холодину трястись битых три часа на этом холодном, как лед, мотоблоке в уездный город за шестьдесят ли отсюда, за стылый пирожок и полкусочка прогорклых соленных овощей. Да пусть даже расщедрится и одарит свиным хвостиком, и то не поеду. Ну а если наградой будет пара свиных ножек в соевом соусе? Но такого просто не случится.

Мать крайне расстроилась, но сдаваться не собиралась. Как для мясников, так и для продавцов утиля эта стужа была золотым времечком. В такую холодину sprysнутое водой мясо не протекало и сохраняло качество; приемщики компаний, покупающих утиль, из-за холода проверяли товар кое-как, и наш картон с водой мог благополучно проскочить. Она развязала провод на поясе, скинула темно-желтую мужскую куртку, надетый под ней новенький свитерок из синтетики, который достался ей как бросовый, засунула за пояс, невысокая, но энергичная, незаурядная личность. На груди этого свитерка вилась надпись из замысловатых букв и была изображена девушка – мастер боевых искусств, наносящая в полете удар ногой. Свитерок этот был вещь драгоценная, когда мать снимала его в потемках через голову, от него с шелестом отлетали зеленые искры. От покалывания этих искр мать негромко постанывала, но на вопрос,

больно ли ей, отвечала, что не больно, а только приятно покалывает. Теперь-то я много чему научился и знаю, что это безобразие творило статическое электричество, но в то время считал, что ей досталось сокровище. Были и мысли тайком поменять материн свитерок на половину свиной головы и съесть ее, но в последний момент сомнения одолели, у меня хватало к матери претензий, но я не мог не помнить и о ее достоинствах, больше всего меня не устраивало то, что она не давала мне есть мяса, но она и сама его не ела, вот если бы тайком его ела, а мне не давала, тогда не то что свитерок втихаря загнал, ее саму продал бы торговцу живым товаром и глазом бы не моргнул, но ведь она с таким трудом создала свое дело и меня задействовала, даже на свиной хвостик не глянет, что тут скажешь? Когда мать – застрельщик, сыну остается лишь подвергаться тому же, что и она, и уповать на то, что отец вернется и эта не жизнь, а мука – скоро закончится. Она прилагает все усилия, и так берется, и этак, несколько раз глубоко вздыхает, задерживает дыхание, оскаливается, прикусывает нижнюю губу и, крутанув ручку, заводит дизель. Маховик разгоняется примерно до двухсот оборотов в минуту, это соответствует пяти лошадиным силам, если при такой скорости не активизируется система сгорания, значит, этот сукин сын дизель и впрямь сволочь, и не просто сволочь, а сволочь последняя. Вот таким он и оказался, выбившаяся из сил мать отшвырнула заводную ручку на землю. Двигатель с холодным равнодушием усмехался, не производя ни звука. Лицо матери потемнело, растерянный взгляд, было впечатление, что она пала духом, утратила боевой задор. Так она выглядела милее, отвратительнее, страшнее всего она смотрелась, когда испытывала воодушевление, рвалась в бой. Тогда она становилась самой что ни на есть скупердяйкой, начинала на всем экономить, ей так и хотелось, чтобы мы с ней положили зубы на полку, что называется, ели землю и питались ветром. А в теперешнем состоянии она могла еще сорить деньгами, надевать лапши, поджарить полкочана капусты, добавить немного сурепного масла, а то и вонючего соуса из креветок, такого соленого, что глаза на лоб лезли. В нашей деревне электричество появилось более десяти лет назад, но в наш новый дом с черепичной крышей оно не проведено. В доставшейся от деда хижине с тростниковой крышей все было ярко освещено, а теперь мы вернулись в эпоху мрака и пользовались керосиновой лампой. По словам матери, скупость тут ни при чем, это реальный протест против продажности деревенских чиновников, которые повышают тарифы на электроэнергию. Когда мы ужинали при крохотном огоньке лампы, на лице матери во мраке всегда светилось довольное выражение.

– Повышайте, повышайте, – говорила она, – хоть до восьми тысяч юаней, все одно я ваше паршивое электричество<sup>24</sup> не использую!

Когда мать была в духе, во время вечерней трапезы даже лампу не зажигали. Если я высказывал недовольство, она говорила:

– Есть не вышивать, неужто ты без света еду в нос занесешь?

Верно она говорила, действительно не занесу. Когда имеешь дело с матерью, проповедующей упорную борьбу, ничего не остается, как только покорно терпеть, ни капли не раздражаясь.

Обескураженная тем, что двигатель не заводится, мать вышла на улицу, может, поискать, с кем посоветоваться? А может, поискать Лао Ланя? Ну, это уж вряд ли, механизм этот из его дома выброшен, Лао Лань, конечно, знает его норы. Через некоторое время она торопливо вернулась и возбужденно заявила:

– Разводи огонь, сынок, немного подпалим этого сукиного сына!

– Это Лао Лань велел тебе поджечь его?

Она удивленно уставилась на меня:

– Что с тобой? Что ты на меня так смотришь?

---

<sup>24</sup> Игра слов: выражение «паршивое электричество» («ванбадань», где «дань» – «электричество») напоминает распространенное ругательство «ванбадань».

– Ничего, – сказал я. – Поджигать так поджигать!

Она притащила от угла стены кучу бросовой резины, сложила под дизелем, принесла огня из дома и подожгла. Резина загорелась, заплясали языки желтого пламени, повалил черный дым и резкая вонь. За последние несколько лет мы насобирали много бросовой резины, которую нужно было переплавлять в квадратные формы, иначе компании по приемке утиля ее не принимали. В то время мы еще жили в центре деревни, и вонь от нашего производства вызывала яростный протест соседей слева и справа, а черный дым с сажей разносился с нашего двора по всей деревне. Началось с того, что соседка с восточной стороны, бабушка Чжан, принесла матери показать воду, зачерпнутую в чане их дома, мать вообще ничего там не увидела, а я заметил плавающие в ней частички, похожие на головастиков, это была сажа от горевшей у нас во дворе резины.

– Мать Сяотуна, – кипятилась Чжан, – тебе не стыдно заставлять нас пить такую воду? Мы от нее заболеть можем!

Мать ответила ей еще хлеще:

– Не стыдно, вот ни капельки не стыдно, а если вы, продавцы левого мяса, все перемерете, то-то будет славно!

Чжан хотела что-то добавить, но, глянув в налившиеся кровью от злости глаза матери, спасовала и отступилась. Позже еще несколько мужчин приходили к нам в дом с протестами. Мать в слезах выбежала на улицу и стала причитать, что несколько мужчин сообща обижают бедную вдову, призывая прохожих зайти и стать свидетелями. Лао Лань, дом которого располагался позади нашего, обладал властью утверждать земельные участки. Когда отец был еще с нами, мать прожужжала ему все уши, и он подал заявление на земельный участок, и от нас ожидалось подношение. Отец вообще не собирался дом строить, не думал он и о подношении, сказав мне потихоньку: «Мы, сынок, как будет у нас мясо, сами его съедим за милую душу, зачем кому-то отдавать?» После того, как отец ушел, мать тоже подавала прошение, а также поднесла упаковку печенья. Но не успела она выйти из его дома, как упаковка вылетела на улицу. Не прошло и полугодя с того времени, как мы начали жечь резину, как однажды он повстречался нам на дороге в уездный центр. Он ехал на трехколесном мотоцикле салатного цвета с надписью «Полиция» на ветровом стекле. Белый шлем на голове, черная кожанка. В коляске восседала большая откормленная овчарка. С черными очками на носу она походила на ученого и так строго посматривала на нас, что у меня душа в пятки ушла. Тогда в нашем мотоблоке что-то сломалось, мать взволнованно крутилась туда-сюда, останавливала всех подряд – машины, пешеходов – и просила помочь, но никто не откликнулся. Мы остановили этот мотоцикл, но поняли, что это Лао Лань, лишь когда он снял шлем. Сойдя с мотоцикла, он пнул ржавый борт и презрительно бросил:

– Давно надо было уже поменять эту развалюху!

– Планирую вот сначала дом построить, – сказала мать, – а потом на новый грузовик копить буду.

– Ну да, – кивнул Лао Лань, – гонору еще хоть отбавляй. Он присел на корточки и помог нам устранить неисправность. Взяв меня за руку, мать рассыпалась в благодарностях.

– Оставь ты свои благодарности, – бросил он, вытирая руки ветошью. Потом потрепал меня по голове:

– Папаша твой возвратился, нет?

Я резко отбросил его руку и отступил на шаг, с ненавистью глядя на него. Он усмехнулся:

– Характерец. На самом деле подлец твой папаша!

– Сам подлец! – огрызнулся я. Мать отвесила мне оплеуху:

– Как ты разговариваешь с дядюшкой?

– Ничего, ничего, – сказал он. – Напиши своему папаше письмо, скажи, пусть возвращается, скажи, мол, я их простил. – Он забрался на мотоцикл, завел его, двигатель взревел,

выхлопная труба зафырчала, собака залилась лаем. А он крикнул матери: – Ты, Ян Юйчжэнь, резину не жги, я тебе разрешение на участок теперь же подпишу, сегодня вечером приходи ко мне за свидетельством!

## Хлопущка десятая

По каморке разнесся аромат жидкой каши. Женщина открыла крышку. Я с удивлением обнаружил, что каши в нем полно, на три полные чашки. Женщина достала из угла три большие черные чашки и стала накладывать кашу деревянной поварешкой с обугленными краями. Один черпак, другой, еще один; один черпак, другой, еще один; один черпак, другой, еще один; три полные чашки, а в котле оставалось еще много. Я был в недоумении, в восторге и ничего не мог понять. Неужели столько каши можно сварить из горстки зерна? Кто все же такая эта женщина? Может, злой дух? Или небесная фея? Привлеченные ароматом каши, в каморку безбоязненно зашли те два лиса, что забежали в храм во время ливня. Впереди самка, самец сзади, а между ними ковыляют трое пушистых лисят. Такие глупышки, просто прелесть. Правду говорят, что в грозу с громом и молнией, когда льет как из ведра, любит живность разрешаться от бремени. Взрослые лисы уселись перед котлом, то поднимая головы и посматривая на женщину сверкающими мольбой глазками, то жадно уставясь на котел. Из брюха у них доносится бурчание: голод не тетка. Троица лисят тыкается в брюхо самки, ища соски. У самца глаза влажные, очень выразительные, он то и дело разевает пасть, словно сказать что хочет. Я знаю, что он сказал бы, если бы умел говорить. Женщина смотрит на мудрейшего, тот со вздохом берет стоящую перед ним чашку и подставляет самке. Женщина точно так же ставит свою чашку с кашей под нос самцу. Оба лиса кивают мудрейшему и женщине в знак благодарности и с чавканьем принимают за еду. Каша горячая, едят они осторожно, а в глазах у них стоят слезы. Я в затруднении, смотрю на кашу перед глазами и не знаю, есть или не есть.

– Ешь, – говорит мудрейший. Такой вкусной каши я точно не едал, да и поешь ли такую вкуснятину еще. Так мы с лисами три чашки и убрали. Сытно рыгнув, они враскачку пошли прочь, лисята за ними. Тут я обнаруживаю, что котел пуст, в нем ни зернышка. Чувствую себя виноватым, но мудрейший уже уселся на кане и перебирает четки, словно засыпает. Женщина сидит перед печкой, где полыхают угольные брикеты, и играет с кочергой. Слабые отсветы огня освещают ее лицо, живое и одухотворенное. Она чуть улыбается, будто воспоминаниям о чем-то прекрасном или совершенному отсутствию всяких мыслей. Я поглаживаю выпятившийся живот, слушая, как за стеной в храме лисята сосут молоко. Котят в дупле не слышно, но я будто вижу, как они тоже сосут матку. У меня тоже появляется сильное желание пососать молока, но где мне взять титьку? Сна у меня ни в одном глазу, и, чтобы преодолеть желание молока, я говорю:

– Продолжаю рассказ, мудрейший.

Вернувшаяся со свидетельством мать взволнована донельзя и разговорчива, как расчирикавшийся воробей.

– Сяотун, а Лао Лань на деле не такой уж плохой, как нам кажется, я еще гадала, как он себя поведет, а он без лишних слов взял и вручил мне свидетельство.

Она еще раз развернула передо мной это свидетельство с красной печатью, потом заставила выслушать воспоминания о тернистом пути, пройденном нами после того, как отец покинул нас. Ее рассказ был полон печали, но гораздо отчетливее в нем звучали удовлетворение и гордость. Меня клонило ко сну, вскоре глаза уже не открывались, я уронил голову и заснул; проснувшись, я увидел, что она, накинув куртку и прислонившись к стене, одна в темноте продолжает бубнить одно и то же на все лады. Не будь я смельчаком с детства, точно перепугался бы до полусмерти. На этот раз долгая болтовня матери была лишь генеральной репетицией, настоящее представление, считай, началось в один из вечеров через полгода, когда мы наконец воздвигли большой дом с черепичной крышей. Тогда мы обитали в хижине, временно возведенной во дворе, было начало зимы, и в свете луны большой дом смотрелся великолепно,

облицованные цветной мозаикой стены сияли. Хижина с четырех сторон продувалась ветром, холод был собачий, слова матери со свистом вырывались наружу, а у меня из головы не шла перебираемая руками мясника свиная требуха.

– Эх, Ло Тун, Ло Тун, ублюдок ты неблагодарный, – говорила мать, – ты думал, что мы вдвоем с сыном без тебя не проживем? Тьфу! Мы не только выжили, но и большой дом с черепичной крышей построили! У Лао Ланя дом пять метров высотой, а наш – пять десять, на целых десять сантиметров выше! У него дом бетоном оштукатурен, а наш цветной мозаикой облицован!

Эта ее страсть к пустому тщеславию вызывала у меня непреодолимое отвращение. У Лао Ланя дом снаружи в бетоне, зато внутри потолок из трехслойной фанеры, стены первоклассной плиткой выложены, полы мраморные. А у нас снаружи цветная мозаика, а внутри стены известковые, балки и столбы торчат, пол неровный, один слой шлака и уложен. Дом Лао Ланя – то, что называется «в пирожке мясо внутри, а не по бокам», а наш близок к тому, что называется «ослиный навоз – снаружи один блеск». Лунный свет освещает ее рот, словно кинокамера выхватывает крупный план. Губы беспрестанно двигаются, в уголках рта скопилась белая пена; я укутываюсь с головой влажным одеялом и засыпаю под ее болтовню.

## Хлопущка одиннадцатая

– Помолчи, мальчик, – женщина впервые заговорила, и между звуками словно протянулась медовая нить. По ее голосу я чувствую, что она уже многое хлебнула в жизни. С легкой улыбкой, исполненной таинственного намека, она отходит на пару шагов и усаживается на неизвестно когда появившийся, а может, всегда там и стоявший темно-красный стул из палисандра. Она махнула мне рукой и снова сказала: – Мальчик, помолчи, я знаю, о чем ты думаешь.

Я не мог оторвать взгляд от ее тела. Я смотрел, как она, не спеша, словно на театральном представлении, расстегивает на этом большом халате медные пуговицы, затем, потянув за полы, резко выпрямляет руки, словно расправляющий крылья страус, и я вижу под этим простым и заношенным халатом роскошную плоть. Я и впрямь ужасно взволнован, просто с ума схожу. Голова гудит, тело бьет озноб, сердце бешено колотится, зубы стучат, будто я голышом стою в ледяной воде. Ее глаза и зубы поблескивают в пламени печки и свете свечи. Ее похожие на плоды манго груди в центре чуть провисают, образуя изящную кривую, а у вершины вновь элегантно вздымаются, подобно пленительно задраным мордочкам каких-то зверушек, вроде ежей. Они сердечно призывают меня, хотя мне не сдвинуться с места – ноги будто приросли к земле. Я воровато поглядываю на мудрейшего, он сидит прямо и неподвижно, скрестив руки, будто уже отошел в мир иной.

– Мудрейший... – мучительно шепчу я, словно желая получить от него спасительных сил, словно ожидая получить от него кивок в знак согласия, который позволил бы мне следовать собственным желаниям. Но мудрейший смахивает на ледяную статую и даже не шевельнется.

– Мальчик, – снова подает голос женщина, но этот звук вроде даже не слетает с ее губ, а доносится откуда-то сверху, откуда-то из ее чрева. Я, конечно, слышал рассказы о чревовещании, но владевшие этим искусством были если не мастерами Улинь<sup>25</sup>, то тучными женщинами и тощими клоунами из цирка. Все они люди необыкновенные, такие окружены загадочными, удивительными особенностями, с ними всегда связывают случаи колдовства и убийства младенцев.

– Подойди, мальчик, – снова звучит голос. – Не нужно противиться сердцу, что оно тебе говорит, то и делай, ты же его раб, а не хозяин. – Но я еще судорожно борюсь. Понимаю, что стоит сделать один шаг, и назад никогда возврата не будет. – Ну что же ты? Разве ты все время не думал обо мне? А как только мясо оказалось у рта, почему-то не осмеливаешься вкусить его? – После смерти сестренки я уже принял решение, что мяса больше есть не буду, и с тех пор действительно не ел его. Теперь вид мяса вызывает у меня тошноту, начинает казаться, что я в чем-то провинился, вспоминается, сколько бед оно мне принесло. Когда речь зашла о мясе, силы самоконтроля в какой-то степени восстановились. Она холодно усмехнулась, словно из пещеры холодом повеяло, и когда снова заговорила, стало заметно, с каким язвительным выражением на лице она раскрывает рот: – Думаешь, не касаясь мяса, ты сможешь значительно облегчить свою вину? Считаешь, что если не станешь пить моего молока, то сможешь доказать, что ты прозрачен, как лед, и чист, как яшма? Хотя ты несколько лет и не ел мяса, ты ни на миг о нем не забывал; сегодня ты можешь моего молока не пить, но потом вовек не сможешь забыть его. Что ты за человек, мне ясно. Ты должен понимать, что я следила за тем, как ты растешь, я разбираюсь в тебе, как в себе самой.

На моих глазах выступили слезы:

---

<sup>25</sup> Улинь – одна из школ боевых искусств.

– Ты тетя Дикая Мулиха? Ты жива? Значит, ты и не умирала? – Я чувствую, что моя душа тянется к ней, меня будто сносит прямо к ней мощным потоком, но меня останавливают ее холодная усмешка и язвительное выражение. Ее рот кривится:

– Какая тебе разница, Дикая Мулиха я или нет? Жива я или умерла, тебе-то что? Если хочешь напиток моего молока, подходи и пей; не хочешь, то и задумываться об этом не надо. Если пить мое молоко – грех, тогда то, что ты хочешь испить моего молока, но не пьешь – грех еще больший.

От ее язвительной насмешливости я не знал, куда деваться, хотелось спрятать лицо под какой-нибудь собачьей шкурой.

– Ну, спрячешь ты лицо под собачьей шкурой, и что дальше? – сказала она. – В конце концов, все равно придется снять ее. Ну, поклянешься не снимать ее, она постепенно сгниет, рассыплется, и покажется твоя похожая на картофелину физиономия. И как мне быть тогда, скажи? – Я что-то мямлил и смотрел на нее умоляющим взглядом. Она запахнула полы халата, закинула левую ногу на правую и почти тоном приказа заявила: – Рассказывай давай свою историю.

Замерзший дизель потрескивал под языками пламени от горевшей резины, и мать, не теряя времени, взялась за заводную ручку, двигатель пару раз чихнул, и из выхлопной трубы вылетел клуб черного дыма. Я радостно вскочил с земли, хоть и надеялся, что она никогда не заведет его. Но не тут-то было, дизель заглох опять. Мать потянула ручку зажигания, подбросила огня и принялась яростно крутить ручку снова. Наконец двигатель взревел, как сумасшедший, мать рукой подбавила газу, маховик стремительно завертелся, вроде бы еще не разогревшийся, но судя по тому, как сотрясался весь механизм и какой густой черный дым повалил из выхлопной трубы, на сей раз он и вправду завелся. Значит, этим утром, когда капля воды превращается в лед, мне придется вместе с ней ехать в уездный центр по обледенелой дороге навстречу пронизывающему до костей ветру. Мать сходила в дом, надела овечий полушубок, сшитый из отдельных кусков, подпоясалась ремнем из воловьей кожи и напялила черную собачью ушанку. В руке она несла серое хлопчатобумажное одеяло. Все это – и одеяло, и полушубок, и ремень, и ушанку – мы подобрали на помойке. Мать закинула одеяло в высокую кабину, на мое место – я укутывался в него от холода. Сама уселась на место водителя и велела мне открыть ворота. Они у нее получились самые внушительные во всей деревне, таких здесь сто лет не было. Две створки, обитые толстыми стальными листами в сантиметр толщиной и накрепко сваренные угловым железом, даже из пулемета не пробьешь. Выкрашены черным лаком, с двумя медными кольцами в звериной пасти. Деревенские относились к ним уважительно, а нищие обходили стороной. Я открыл материн медный замок, с усилием растворил половинки ворот, и ворвавшийся с улицы холодный ветер вмиг прохватил меня насквозь. Но я не стал размышлять по поводу холода, потому что увидел высокого мужчину, который, ведя за руку девочку лет четырех-пяти, неспешно приближался с той стороны, откуда торговцы ведут в деревню скотину. Сердце у меня вдруг остановилось, потом бешено заколотилось, и я, еще не разглядев как следует его лица, понял, что это вернулся отец.

Мы не виделись пять лет, я тосковал о нем днем и ночью и всякий раз представлял себе его возвращение чем-то потрясающим, но на самом деле все произошло очень просто и обыденно. Отец был без шапки, на жирных растрепанных волосах налипло несколько соломинок, в волосах этой девочки тоже, будто они только что вылезли из скирды. Лицо отца немного отекло, уши усыпаны чирьями, на подбородке черная с сединой щетина. На правом плече битком набитая желтая брезентовая сумка, к наплечному ремню привязана эмалированная кружка. На груди вытертой армейской шинели старого образца две коричневые пуговицы отлетели, но нитки, которыми они были пришиты, еще торчат, видны и вмятины от пуговиц. Штаны не разберешь какого цвета, на ногах высокие, уже не новые, яловые сапоги, они доходят ему почти до колен, покрыты грязью, но кое-где блестят как лакированные. При виде этих сапог

я тут же вспомнил о его прежней славе, если бы не они, в то утро он выглядел бы совсем блёкло в моих глазах. На красной шапочке девочки, которая, держа его за руку, еле попевала за ним вприпрыжку, беспорядочно подпрыгивал растрепанный помпон. Полы темно-красного пуховика почти волочились по земле, она смахивала в нем на надутый кожаный мяч и словно катилась на бегу. Смуглое лицо, большие глаза, длинные ресницы, густые, не подходившие ей по возрасту брови почти сходились на переносице лаково-черной прямой линией. Ее глаза сразу заставили вспомнить Дикую Мулиху, отцову любовницу и соперницу матери. Я к Дикой Мулихе не только не испытывал ненависти, но даже симпатизировал ей, и до того, как они с отцом убежали, любил бывать у нее в ресторанчике; одной из причин этой симпатии было то, что я мог там поесть вдоволь мяса, но не только в этом было дело, она была мне близка, а когда я узнал, что она – любовница отца, стал относиться к ней как-то еще более по-родственному.

Я не стал звать его, а совсем не так, как много раз представлял себе при виде его, не обращая ни на что внимания, бросился в его объятия, жалуясь на то, сколько страданий мне пришлось пережить после его ухода. Я не стал сообщать матери, что он пришел. Лишь метнулся к створке ворот и застыл там как часовой. Увидев, что ворота распахнуты, мать взялась за ручки и привела в движение похожий на небольшую гору мотоблок. Когда он оказался напротив проема ворот, с улицы туда как раз подошел отец с маленькой девочкой.

– Сяотун? – как-то неуверенно крикнул он.

Я не ответил, уставившись на мать. Она вдруг побледнела, ее взгляд остановился, будто заледенел; мотоблок, как слепая лошадь, ткнулся в угол стены у ворот; и затем она, точно подстреленная птица, соскользнула с сиденья водителя.

Отец на миг замер, раскрыв рот и обнажив желтоватые зубы; потом закрыл рот и прикрыл их; затем опять открыл рот и захлопнул вновь. С каким-то раскаянием он посмотрел на меня, словно ожидал от меня помощи. Я горопливо отвел глаза. Он поставил сумку на землю, отпустил руку девочки и, поколебавшись, направился к матери. Дойдя до нее, он опять глянул на меня, я снова отвел взгляд. Наконец, он склонился над сидевшей у мотоблока матерью и поднял ее. Тем же застывшим взглядом она непонимающе посмотрела на него, словно на незнакомого. Отец оскалился, захлопнул рот, из горла у него вырвалось подобие кашля. Мать вдруг протянула руку и царапнула его по лицу. Потом вырвалась у него из рук, повернулась и пустилась бегом к дому. Ее ноги подгибались, как полоски лапши, будто из них исчезли все кости. Она бежала, раскачиваясь в разные стороны, загребая грязь и воду. Влетев в дом, с грохотом захлопнула за собой дверь, причем с такой силой, что одно из стекол вылетело, упало на землю и разлетелось на мелкие кусочки. Все затихло, но через какое-то время раздался долгий вопль, а потом она заголосила на все лады.

Отец стоял там, как трухлявое дерево, и в смущении продолжал без конца раскрывать и закрывать рот. На щеке у него проявились три глубокие царапины, сначала бледные, потом на них выступила кровь. Девочка подняла на него глаза и захныкала.

– Пап, у тебя кровь... – запищала она с ярко выраженным нездешним произношением. – Пап, кровь идет... Пап, кровь...

Отец присел на корточки и обнял ее. Девочка обхватила его за голову, не переставая хныкать:

– Пап, пойдём...

Дизель продолжал рычать, как раненый зверь. Я подошел и выключил его.

Когда рев мотора стих, плач девочки и матери, казалось, стал лезть в уши еще навязчивее. Во двор стали заглядывать женщины, ходившие поутру за водой, и я сердито захлопнул ворота.

Взяв девочку на руки, отец встал, подошел ко мне и учтиво спросил:

– Сяотун, ты меня узнаешь? Я твой папа...

В носу защипало, к горлу подступил комок.

Большой ручищей отец погладил меня по голове:

– Несколько лет не виделись, а ты вон какой вымахал...

Из глаз у меня брызнули слезы, и он стал вытирать их большой пятерней:

– Не плачь, сынок дорогой, вы с мамой молодцы, живете, я смотрю, хорошо, так что я спокоен.

Я, в конце концов, выдавил из себя «пап».

Отец поставил девочку на землю:

– Познакомься, Цзяоцзяо, это твой старший брат.

Девочка спряталась за его ногу и робко поглядывала на меня.

– Сяотун, – обратился отец ко мне, – это твоя сестренка.

Глаза девочки очень красивые, глядя в них, я тут же вспомнил о той женщине, что угощала меня мясом, она мне понравилась. И я кивнул ей.

Вздыхнув, отец поднял сумку, взял одной рукой за руку меня, другой – девочку и направился к двери в дом. Рыдания матери накатывали волнами, одна другой выше, еще довольно громкие, они не прекращались ни на миг. Опустив голову, отец подумал, потом постучал в дверь:

– Юйчжэнь, прости меня... Я вернулся, чтобы повиниться перед тобой...

Из глаз у него катились слезы, это было так трогательно, что слезы закапали и у меня.

– Я вернулся в надежде, что теперь мы с тобой заживем хорошо. Факты свидетельствуют, что жить так, как живет семья твоих родителей, – правильно, а традиции в семье моих – неверные. Если бы ты смогла простить меня... Надеюсь, ты сможешь простить меня...

Жесткая самокритика отца и тронула меня, и раздосадовала. Если даже он действительно сдержит слово и останется, разве получится, как раньше, есть свиные головы? Дверь в дом резко распахнулась, и на пороге появилась мать. Она встала в дверном проеме, уперев руки в бедра, лицо бледное, глаза покрасневшие, взгляд обжигающий. Отец отступил на шаг, дрожащая от испуга девочка спряталась у него за спиной. Мать походила на огнедышащий вулкан, извергающий лаву:

– У тебя, Ло Тун, убудка, совесть потерявшего, что ли, тоже есть настоящее? Пять лет назад сбежал с этой лисой-обольстительницей, нас двоих бросил, пожил с ней всласть, а теперь тебе еще хватает наглости заявляться в дом?

Девочка заревела в голос:

– Пап, мне страшно...

– Вот как славно, даже ребенка на стороне нажил! – гремела мать, пожирая девочку глазами. – Ну просто копия, копия! Маленькая лиса-обольстительница! Что же ты большую лису с собой не привел? Пусть бы только явилась, я бы ей всю лисью вонь выпустила!

Отец виновато улыбался с таким видом, как говорится, что «под крышей чужого дома волей-неволей голову опустишь».

Мать снова закрыла дверь и ругалась уже через нее:

– Убирайся вместе со своей девкой нагулянной, видеть вас больше не хочу! Лиса твоя хвостом тебе махнула, так ты о нас с сыном вспомнил? Вон пошел, ты в наших сердцах умер давно!

Отругавшись, мать снова разразилась рыданиями.

Отец зажмурился и тяжело перевел дух, как астматик на последнем издыхании. Через какое-то время его дыхание пришло в норму, и он обратился ко мне:

– Сяотун, живите счастливо с матерью, а я пошел...

Он потрепал меня по голове, присел на корточки перед девочкой, чтобы она могла вскарабкаться ему на спину. Девочка росточку была крохотного, да еще в широченной куртке, наполовину забравшись к отцу на спину, она все время соскальзывала. Протянув руку, отец взял ее за ножку и затащил на загривок. Поднялся с ней на спине, вытянув голову, шея у него

тоже вытянулась, как у быка, который подставляет ее под нож. Битком набитая сумка раскачивалась у него под мышкой, как свешивающийся с прилавка мясника говяжий желудок.

Я потянул его за куртку:

– Пап, не уходи, я не пущу тебя!

И стал стучать в дверь, умоляя мать:

– Мама, пусть папа останется...

Из дома донесся ее крик:

– Пусть катится прочь, далеко-далеко!

Я просунул руку туда, где было разбито стекло, вытащил задвижку и открыл дверь со словами:

– Пап, заходи, я тебя оставляю!

Отец покачал головой и зашагал прочь. Я ухватил его за одежду и громко захныкал, таща к дому. Мне удалось затащить его в дом, и меня обволокло жаром от печки. Мать еще ругалась, но уже не так громко. Ругань тут же сменялась рыданиями.

Отец снял девочку с плеч, я поставил у печки две табуретки и предложил им сесть. Девочка уже привыкла к рыданиям матери и вроде бы чуть осмелела.

– Папа, я есть хочу, – сказала она.

Достав из сумки холодный пирожок, отец разломил его на несколько кусочков и положил на печку греться, вокруг вскоре разнесся аромат жареных пирожков. Отец отвязал эмалированную кружку и тихо спросил:

– Сяотун, горячая вода есть?

Я принес термос и налил полкружки мутной тепловатой воды. Отец поднес ее ко рту, попробовал и сказал девочке:

– Попей водички, Цзяоцзяо.

Она глянула на меня, словно спрашивая согласия, и я дружелюбно кивнул.

Девочка взяла кружку и стала шумно прихлебывать, причмокивая при этом, как теленок, такая милая. Из комнаты влетела мать, вырвала у девочки кружку и вышвырнула во двор. Кружка со звоном покатила по земле.

Мать влепила девочке оплеуху и рявкнула:

– Нечего здесь воду распивать, лисье отродье!

От удара шапочка слетела, открыв две маленькие косички с вплетенными белыми шнурками, из-за которых шапочка сидела неровно. Девочка ударилась в плач и бросилась в руки отца. Тот резко встал, дрожа всем телом и сжав руки в кулаки. Я совсем не по-сыновнему надеялся, что он двинет матери, но кулаки отца понемногу разжались. Он обнял девочку и негромко проговорил:

– Из-за всей твоей лютой ненависти, Ян Юйчжэнь, ты можешь резать меня на куски, прикончить меня из ружья, но ребенка, у которого нет матери, бить не смей...

Мать отступила на пару шагов, взгляд снова стал ледяным. Она уставилась на голову девочки и долго-долго смотрела, потом подняла глаза на отца:

– А что с ней случилось?

Отец опустил голову:

– На самом деле болеть она особо не болела, животом страдала, три дня промучилась и отошла...

Лицо матери подобрело, но она произнесла с прежней ненавистью:

– Это возмездие, правитель небесный воздал вам по делам вашим!

Она прошла в комнату, открыла шкаф, достала пачку сухого печенья, разорвала замасленную обертку, вынула несколько штук и передала отцу:

– Пусть поест.

Отец покачал головой в знак отказа.

Немного смутившись, мать положила печенье на подставку для печки и заявила: – Какая бы женщина ни попала тебе в руки, доброй смертью не умирает! Мне еще страшно повезло, что я до сих пор жива!

– Я недостойн ее, – сказал отец. – И тебя тоже.

– Оставь все свои слова при себе, – сказала мать, – я их не услышу все равно, пусть даже небо от твоих слов разверзнется, я с тобой жить не смогу, добрый конь на старый выпас не возвращается, будь ты человек решительный, я не смогла бы оставить тебя, даже если бы захотела.

– Мам, пусть он останется... – канючил я.

Мать ответила холодной усмешкой:

– А ты не боишься, что он наш новый дом проест?

– Правильно говоришь, – горько усмехнулся отец, – добрый конь на старый выпас не возвращается.

– Пойдем в ресторан, Сяотун, – сказала мать, – мяса поедем, вина выпьем; мы с тобой за эти пять лет пострадали, сегодня можно себе и позволить!

– Не пойду! – заявил я.

– Смотри не пожалей, ублюдок! – вспыхнула мать.

И, повернувшись, вышла из дома. Только что на ней был овчинный полушубок, но она в какой-то момент успела снять его и черную собачью ушанку тоже. Теперь она надела синее вельветовое пальто, из-под которого выглядывал высокий воротник рыжего свитера из синтетики, от которого летели искры. Держалась она очень прямо, с несколько неправдоподобно задранной головой, грациозно вышагивая, как только что подкованная наново кобылка.

Когда она вышла за ворота, я почувствовал значительное облегчение. Взял с печки пирожок и предложил девочке. Она подняла глаза на отца, тот кивнул, она взяла пирожок и принялась жевать его, откусывая большие и маленькие куски.

Отец вынул из-за пазухи пару окурков, собрал из них табак, свернул самокрутку из куска старой газеты и прикурил от печки. Из ноздрей у него потянулись струйки сизого дыма, и, глядя на его седеющую шевелюру и седые усы, на отмороженные уши с гнойниками и вытекающим из них чем-то желтым, я вспомнил, как ходил тогда с ним на ток оценивать скотину, как ел мясо в ресторанчике Дикой Мулихи, и душу охватили тяжелые переживания.

Чтобы сдержать слезы, я отвернулся и больше не смотрел на него. Вдруг вспомнив про миномет, я сказал:

– Пап, мы ничего не боимся, теперь никто не посмеет нас обидеть, у нас большая пушка имеется!

Я бегом отправился в пристройку, откинул драные листы картона и приподнял тяжеленный круг – базу миномета.

Напрягая все силы, я еле-еле вытащил его во двор, бросил напротив ворот и тщательно установил. Из дома вышел, ведя за руку девочку, отец:

– Что это ты раздобыл такое, Сяотун?

Не затруднившись ответить, я порысил в пристройку, вернулся с такой же тяжелой треногой и положил ее рядом с кругом. Еще одна ходка – и я принес на плече гладкую трубу. И собрал все вместе, установив ее на треногу и круг.

Действовал я быстро и умело, как заправский артиллерист. И, отойдя в сторону, гордо сказал:

– Пап, это восьмидесятидвухмиллиметровый японский миномет, крутая вещь!

Отец осторожно подошел к миномету и, наклонившись, стал тщательно осматривать.

Этот образец тяжелого вооружения достался нам в виде нескольких кусков железного лома, покрытых целым слоем ржавчины, и я сначала начисто отдираю ее кирпичом, потом тща-

тельно обрабатывал наждачной бумагой, не пропуская ни один уголок, отчистил и внутреннюю поверхность трубы, запуская туда руку, а недавно смазал покупной смазкой. Теперь миномет обрел изначальный вид – корпус с сизовато-стальным отливом, он молодцевато застыл, разинув пасть, ни дать ни взять могучий лев, готовый в любую минуту издать рык.

– Пап, ты внутрь трубы загляни.

Взгляд отца скользнул в ствол миномета, и лучик света лег на его лицо. Он поднял голову, стрельнул глазами по сторонам. Я видел, что он взволнован, а он, потирая руки, сказал:

– Хорошая вещь, действительно хорошая! Откуда она у вас?

Я засунул руки в карманы и, водя ногой по земле, с якобы безразличным видом ответил:

– Да вот привезли нам, какой-то старик со старухой доставили на своем старом муле.

– Стреляли из него, нет? – Отец еще раз заглянул в дуло: – Вот уж шарахнет так шарахнет, настоящее оружие!

– Я собираюсь, как наступит весна, смотаться в Наньшаньцунь к этим старикам, у них наверняка и мины есть, куплю у них все, что имеется, и пусть кто попробует меня обидеть, весь дом ему разнесу! – Я поднял глаза на отца и добавил угодливо: – Можем первым делом Лао Ланю дом разнести!

Отец с горькой усмешкой покачал головой, но ничего не сказал.

Девочка доела пирожок и заявила:

– Пап, я еще хочу...

Отец сходил в дом и принес куски согревшегося пирожка.

Девочка покачалась из стороны в сторону:

– Не хочу этого, печенье хочу...

Отец в затруднении глянул на меня, я помчался в дом, принес печенье, положенное материю на пещку, и протянул девочке:

– На, ешь.

В тот самый миг, когда девочка протянула ручку, чтобы взять печенье, отец налетел на нее, как коршун на цыпленка, и обнял. Девочка заревела, а отец утешал ее:

– Цзяоцзяо, моя хорошая, мы чужое не едим.

Сердце мое сразу зазеленело.

Отец поднял не перестававшую реветь девочку на плечи и погладил меня по голове:

– Ты уже большой вырос, Сяотун, добьешься большего, чем отец, вон пушка какая у тебя есть, отцу хоть спокойнее на душе...

И пошел с ней за ворота. Со слезами на глазах я побрел за ним:

– Пап, а нельзя, чтобы ты не уходил?

Отец обернулся, склонив голову набок:

– Хотя у вас и миномет есть, стрелять из него куда попало не надо, и по дому Лао Ланя не надо.

Край отцовой куртки выскользнул у меня из руки, и он, нагнувшись из-за сидевшей на плечах дочки, зашагал дальше по обледенелой улице по направлению к железнодорожной станции. Когда они отошли шагов на десять, я громко крикнул:

– Пап!

Отец не обернулся, зато обернулась девочка, лицо заплаканное, но на нем явно сверкнула улыбка, как весенняя орхидея, как осенняя хризантема. Она помахала мне ручонкой, мое сердце десятилетнего мальчишки сжалось от резкой боли, и я присел на корточки. Прошло примерно столько, сколько нужно, чтобы выкурить трубку табаку, и силуэты отца с девочкой исчезли за поворотом; прошло время на еще одну трубку табаку, и с противоположной стороны подошла запыхавшаяся мать с большой белой с красными разводами свиной головой. Остановившись передо мной, она в смятении спросила:

– А отец твой где?

С ненавистью глядя на эту свиную голову, я ткнул в сторону железнодорожной станции.

Откуда-то издалека, слабый, но отчетливый, донесся крик петуха, возвещающий рассвет. Я знал, что на дворе сейчас самое темное время перед рассветом, но скоро начнет светать. Мудрейший все так же сидел без движения, в камерке устало звенел единственный комар. Свеча покосилась набок, и растопленный воск застыл на подставке белой хризантемой. Женщина закурила сигарету и поморщилась от лезущего в глаза дыма. Она энергично встала, повела плечами, и просторный халат соскользнул с ее тела, как пенка на соевом молоке, оставшись лежать под ногами бесформенной кучей. Она еще потопталась по нему, приминая. Потом снова уселась на стул, раздвинула ноги, сперва погладила груди, потом надавила, и из них струйками полилось молоко. Меня переполняло волнение, я был словно околдован и сидел, наблюдая, как мое тело, подобно оболочке личинки цикады, сохраняло свою форму, оставаясь сидеть на табуретке, а другое мое «я» гольшом направилось к струйкам молока. Они попадали в лоб, в глаза, оставаясь на веках капельками жемчужных слез. Струйки молока попадали и в рот, и я ощутил в горле его сладковатый запах. Он встал перед женщиной на колени, уткнувшись спутанными, торчащими волосами ей в живот. Прошло довольно много времени, прежде чем он поднял на нее глаза и, словно во сне, спросил:

– Ты – тетя Дикая Мулиха?

Она покачала головой, потом кивнула и с глубоким вздохом проговорила:

– Дурачок ты маленький.

Затем отступила на шаг, села на стул и, взявшись за правую грудь, стала совать ему в рот...

## Хлопушка двенадцатая

Над головой раздался грохот, сверху посыпались битая черепица и гнилая трава вперемешку с землей, разлетелась на куски чашка, а одна бамбуковая палочка для еды подскочила вбок и как стрела вонзилась в покрытую плесенью стену. Эта питавшая меня налитой грудью, эта теплая, как только что вынутый из печи батат, женщина резко оттолкнула меня. Когда сосок выскользнул у меня изо рта, сердце пронзила острая боль, голова закружилась, и я невольно сполз на пол. Из горла рвался громкий вопль, но ему не было выхода, словно шею сдавили огромные ручищи. Она растерянно огляделась по сторонам, будто что-то потеряла, вытерла мокрый сосок и с ненавистью уставилась на меня. Я вскочил, бросился к ней, обнял и стал покрывать поцелуями ее шею. Она ухватила мне кожу на животе, с силой крутнула и резко отпихнула от себя, плюнув в лицо, а потом, покачивая бедрами, вышла из каморки. Перепуганный, я последовал за ней и увидел, что она приостановилась за крупом статуи Ма Туна. Закинув ногу, она вскочила ему на спину, они вместе с этим конем с человеческой головой вылетели из храма, и с улицы донесся звонкий цокот копыт. Раздавалось пение птиц, приветствовавших рассвет, где-то вдалеке было слышно, как коровы зовут телят. Я знал, что как раз в это время они кормят их молоком. Я будто видел, как телята тыкаются головой в волнующиеся соски, а коровы благосклонно и болезненно выгибаются всем телом, но вот моя грудь уже исчезла. Я с размаху шлепнулся задом на холодный влажный пол и, не стыдясь, заплакал. Проплакав немного, поднял голову на зияющую в крыше дыру размером с бамбуковую корзину, через которую приливом хлынул свет утренней зари. Я чмокал губами, будто пробуждаясь ото сна. Если это был сон, то откуда у меня полный рот молока? Проникая в мое тело, эта загадочная жидкость заставила меня вернуться в детство, значительно ужалось и мое выросшее тело. Если это был не сон, то откуда взялась эта похожая на тетю Дикую Мулиху женщина, которая никакой Дикой Мулихой не была, и куда она сейчас делась?.. Я тупо сидел, глядя на мудрейшего, о котором я давно уже и не вспоминал и который медленно пробуждался, как очнувшийся от спячки питон. Он сложился в золотистых отсветах зари и начал выполнять упражнения цигун. Мудрейший был уже в просторном домашнем одеянии, ну да, это и есть тот большой халат из холстины, который надевала эта кормившая меня грудью добрая женщина. У мудрейшего был свой собственный комплекс упражнений, он складывался всем телом и брал в рот собственный стебель, он валялся на просторной деревянной кровати как заводная игрушка с хорошим заводом. От бритой головы мудрейшего шел пар, отливающий всеми цветами спектра. Поначалу я не обращал внимания на цигун мудрейшего, считая, что это всего лишь детские забавы, но лишь попробовав повторить его движения, понял, что кувыряться на постели нетрудно, складываться всем телом тоже несложно, а вот попытаться достать зубами свой стебель куда как непросто.

Закончив упражнения, мудрейший встал на кровати и отряхнулся всем телом, как повалявшийся вволю на песке жеребец. Жеребец может стряхнуть с себя частицы земли, а с тела позанимавшегося цигун мудрейшего во все стороны дождем разлетелись капли пота. Несколько капель попали мне на лицо, одна даже в рот залетела. От них веяло ароматом цветов коричневого дерева, и вот этот аромат распространился по всей каморке. Мудрейший высок ростом, на левой груди и внизу живота у него завихряющиеся шрамы размером с винную стопку. Шрамов от пуль я не видел, но уверен, что они от пуль. Получив пару пуль в такие уязвимые места, восемь-девять человек из десяти отправляются к Ло-вану<sup>26</sup>, но он этой участи избежал и до сих пор пребывает в добром здравии, сразу видно – человек удачлив и везуч. Стоя на кровати, он бритой головой почти упирается в бамбуковые балки. «Вытяни он посильнее

---

<sup>26</sup> Ло-ван (Яньло-ван) – по китайским народным верованиям, владыка ада.

шею, – думаю я, – и голова его может высунуться в отверстие провала». То-то народ перепугается, увидев торчащую позади конька черепичной крыши храма его голову, испещренную шрамами! А как странно и удивительно это покажется низко кружащим в небе коршунам! Мудрейший расслабляется и поворачивается всем телом ко мне. Тело у него еще молодое и составляет разительный контраст со старческой головой. Если бы не выпирающий – хотя и не очень – животик, можно было бы сказать, что этому телу лет тридцать с небольшим, но когда он в этой изношенной кашье восседает перед статуей бога Утуна, то по выражению лица и поведению ему меньше девяноста девяти не дашь, никто и усомниться не посмеет. Страхнув пот, мудрейший потянулся, накиннул кашью и спустился с кровати. Все, что я только что видел, исчезло под этой кашьей, которая, казалось, в любой момент может распасться на куски. Казалось, все это было порождено моей фантазией, я тер глаза, как главный герой рассказов об удивительном, который столкнулся с чем-то непостижимым и куснул себя за палец, чтобы удостовериться, что ощущения не обманывают. Стало больно, значит, тело мое настоящее, значит, все только что виденное происходило на самом деле. Мудрейший – к тому времени это уже был он, подрагивающий от слабости старик, который словно только что обнаружил меня перед собой на четвереньках и, притянув к себе, каким-то исполненным сострадания голосом спросил:

– Младший мирянин, может ли чем-то помочь тебе старый монах?

Обуреваемый самыми разными чувствами, я проговорил:

– О мудрейший, я не закончил вчерашний рассказ.

Монах вздохнул, будто припоминая, что было вчера, и сочувственно спросил:

– Значит, хочешь рассказывать дальше?

– О мудрейший, недосказанное сдерживается в душе и может вызвать нарывы и фурункулы.

Уклонясь от ответа, монах покачал головой:

– Следуй за мной, младший мирянин.

Я последовал за ним в переднюю часть храма, к статуе божества с лошадиной головой – одному из воплощений бога Утуна. На этом открытом пространстве мудрейший уселся на молитвенный коврик, который казался еще более ветхим, чем вчера, потому что из-за вчерашнего ливня на нем, как и везде, повзрастали сероватые грибочки, ухо ему мгновенно облепили мухи, похоже, те же, что ползали по нему вчера, а еще две, покружив в воздухе, опустились на длинные брови. Эти брови изгибались, дрожали, словно ветви с поющими на них птицами. Я опустился на колени сбоку от мудрейшего, упершись задом в пятки, и продолжил рассказ. Но цель моего рассказа – уход от мира сего – уже стала не такой четкой, в отношениях между мной и мудрейшим за эту ночь произошли значительные изменения, перед глазами у меня все время всплывает образ его молодого и здорового, чувственного тела, старая кашья то и дело становится прозрачной, и мысли у меня путаются. Но я все же хочу продолжить свой рассказ, как когда-то наставлял отец: если у чего-то есть начало, то должен быть и конец. И рассказываю дальше.

Застыв на секунду, мать хватает меня за руку и размашистым шагом направляется вперед, по направлению к железнодорожной станции.

Левой рукой мать держала за руку меня, в правой у нее была свиная голова, мы торопливо шли по дороге к станции, все быстрее и быстрее, пока не перешли на бег.

Когда она схватила меня за руку, я не собирался следовать за ней и изворачивался, чтобы высвободиться, но она держала меня за запястье железной хваткой, и вырваться было невозможно. В душе я был крайне недоволен ею. Как отвратительно ты вела себя, Ян Юйчжэнь, сегодня утром, когда отец вернулся. Отец – человек сильный, как говорится, ногами стоит на земле, а головой подпирает небо, пусть даже сейчас у него не всё складывается, но он смог склонить перед тобой гордую голову, что, может, и не было чем-то потрясающим, но по мень-

шей мере трогало до слез. Что еще тебя, Ян Юйчжэнь, не устраивает? Зачем тебе надо было уязвить его такими злобными речами? Отец предоставил тебе возможность решить все миром, а ты не только, как говорится, не слезла с осла на покатоном склоне, а, наоборот, только и делала, что голосила и вопила, каких только ругательных слов не высказала по поводу его незначительных проступков, так и цеплялась по каждой мелочи, да так, что аж тряслась вся – ну какой благородный муж выдержит такое! Мало того, самым недостойным была твоя попытка выкачать свой норв по отношению к моей младшей сестренке. От твоей затрешины у нее даже шапочка слетела и показались белые шнурки, вплетенные в косички, сестренка разрыдалась, я, ее единокровный брат, так из-за этого расстроился, Ян Юйчжэнь, а ты подумай, как неприятно это было отцу! Кто играет, голову теряет, Ян Юйчжэнь, мне со стороны виднее, я понимаю, что этой оплеухой ты все испортила. Нарушила чувства мужа и жены, разбила сердце отца. Не только его сердце, но и мое тоже. С такой жестокосердной матерью мне, Ло Сяотуну, отныне тоже надо быть настороже. Хоть я и надеюсь, что отец, возможно, останется жить со мной, но в то же время чувствую, что он уйдет, на его месте я бы тоже ушел, люди решительные всегда уходят, мне кажется, что нужно бы уйти вместе с отцом, а ты, Ян Юйчжэнь, будешь жить припеваючи одна, будешь сторожить свой большой пятикомнатный дом с черепичной крышей!

Так, злобно бросаясь от одной мысли к другой, я, пошатываясь, поспешал за своей матерью Ян Юйчжэнь. Я не слушался, а другой рукой она еще тащила свиную голову, поэтому бежали мы небыстро. Народ по дороге косился на нас с любопытством или недоумением. В то необычное раннее утро в глазах прохожих я и мать, тащившая меня бегом по дороге из деревни на станцию, должно быть, являли странное, но занятное представление. Они обращали на нас внимание, равно как и бегущие краем дороги собаки. Они бешено облаивали нас, а одна гналась за нами и норовила укусить.

Получив серьезный моральный удар, мать не бросила свиную голову на землю, как актеры в некоторых фильмах, а крепко держала ее в руке, как бегущий в панике солдат, не желавший выпускать из рук оружия. Ей было тяжело, но она неслась вперед, таща левой рукой меня, своего сына, а правой прижимая к себе свиную голову, купленную, чтобы совершить небывалый прорыв и наладить с отцом прежние отношения. По ее изможденному лицу катились сверкающие капли то ли пота, то ли слез. Она тяжело дышала, губы беспрестанно шевелились, изо рта без конца неслись ругательства. Она все еще ругается, мудрейший, как ты считаешь, следует ли послать ее в ад для сквернословов, чтобы там ей язык вырвали?

Нас обогнал мужчина на мотоцикле. Сзади на поперечине у него висело множество больших белых гусей, их шеи беспорядочно изгибались и покачивались, как змеи. Из клювов мутными дождевыми каплями стекала вода, ну что твой бык на ходу мочится. На твердой сероватой поверхности дороги оставались бесконечные влажные полосы. Гуси гоготали от боли, в маленьких черных глазках посверкивала безнадежность. Я знал, что животы у них полны грязной воды, ею было насыщено все, что покидало нашу деревню мясников – мертвое или живое. Вода была в коровах, овцах, свиньях, бывало, даже в куриных яйцах. У нас еще загадка была: что в деревне мясников не наполнишь водой? Два года гадали, и никто не мог ответить, только я сразу догадался. А ты, мудрейший, можешь дать ответ? Ха-ха, и у тебя не получается, а у меня получилось сразу. Тому, кто придумал эту загадку, я сказал: «Это вода, у нас в деревне мясников, только воду нельзя наполнить водой».

Мотоциклист обернулся и посмотрел на нас. Чего на нас любоваться, так тебя и так? Я хоть мать не жалею, но еще больше терпеть не могу этих зевак. Мать давно говорит: «Тех, кто смеется над сиротами и вдовами, покарают небеса». И действительно: в тот самый момент, когда он обернулся посмотреть на нас, его мотоцикл столкнулся с тополем у дороги. От удара мотоциклист вылетел из седла, наступил пятками на поперечину с гусями, шеи которых беспорядочно обвилились вокруг его ног, а потом свалился в придорожную канаву. Одетый в сверкающее, как доспехи, пальто из свиной кожи, на голове – модная в то время шапка-носок

из толстой шерсти, большие черные очки на носу. Так одеваются в кино убийцы-мафиози. Ходили слухи, что на этом участке дороги попадаются грабители, и мать для храбрости тоже наряжалась примерно так же, она еще курить научилась, но, конечно, на хорошие сигареты не тратилась. Увидев мою мать в черной кожанке, вязаной шапке-носке, в черных очках и с сигаретой в зубах, восседающую на мотоблоке, ты, мудрейший, даже не принял бы ее за женщину. Мотоциклист промелькнул мимо так быстро, что я не разглядел его; я не понял, кто это, и когда он обернулся, чтобы посмотреть на нас; его лицо стало ясно видно, лишь когда он шлепнулся навзничь в канаву с тонким слоем воды и когда с него по инерции слетели шапка и темные очки. Это был бригадир кухонной команды и по совместительству заготовитель продуктов для городской управы, он часто приезжал к нам в деревню. В течение многих лет он закупал у нас продукты для городских чиновников и партфункционеров, все, что относилось к жирам и белкам. В политическом отношении это был человек абсолютно надежный, в противном случае никто не поручился бы за безопасность и жизнь городских руководителей. Этот человек по фамилии Хань, мастер Хань, был собутыльником отца, и отец разрешал называть его «дядюшка Хань».

Когда отец отправлялся в город пить вино и есть мясо с дядюшкой Ханем, он всегда брал меня с собой. Однажды он не взял меня, так я пробежал десять с лишним ли и нашел их в том же ресторанчике под названием «Благоухание». Они, похоже, что-то обсуждали, лица их были серьезные. Кастрюля с собачьим мясом на столе между ними дышала паром и источала призывный аромат. Увидев их, я заревел. Не то чтобы от аромата собачьего мяса. Мне казалось, что отец поступает непорядочно, я так непоколебимо ему предан, решительно выступаю на его стороне в войне с матерью, а также храню секреты его близких отношений с тетей Дикой Мулихой, а он – нате вам! – сбегает в одиночку есть собачье мясо и даже не берет меня с собой, разве не обидно? Завидев меня, отец остался равнодушным:

– А ты как здесь оказался, пацан?

– Сам пошел мясо есть, а меня чего не взял? Или я тебе не сын родной?

Чуть смутившись, отец сказал дядюшке Ханю:

– Почтенный Хань, ты только глянь на этого моего сыночка, это надо быть таким обжорой?

– Сам удрал мясо есть, а меня бросил пробавляться редькой и солеными овощами с Ян Юйчжэнь, да еще обжорой обзываешься, какой ты отец после этого! – выпалил я. Это был не упрек, в душе поднялась такая обида, аромат собачьего мяса еще пущешибанул в нос, на глазах выступили слезы и, в конце концов, покатались ручьем.

– Любопытный парнишка, – усмехнулся дядюшка Хань. – Твой сын, почтенный Ло, молодцом, говорить умеет. – Потом подозвал меня: – Иди сюда, приятель, садись, ешь, сколько влезет, я давно уже слышал, что ты любитель мяса, такие дети смышленные. Потом захочешь мяса, приходи ко мне, обязательно накормлю досыта. Хозяйка, подай-ка ему чашку и палочки...

Ну и вкусная в тот день была собачатина! Я ел и ел, измазанная маслом и мукой хозяйка то и дело добавляла в котел куски мяса и кипятка. Ел я сосредоточенно, не обращая внимания на расспросы дядюшки Ханя. Слышал, как отец сказал хозяйке:

– Этот мой сынок может полсобаки съесть за один присест.

Слышал слова дядюшки Ханя:

– Что же ты, почтенный Ло, довел сына до такого? Нужно, чтобы он обязательно ел мясо, если мужчина не ест мяса, это никуда не годится. Почему в Китае физкультура не на высоте? В конечном итоге из-за того, что мяса едим мало. Попросту говоря, отдай мне Сяотуна в сыновья, и вся недолга. Он у меня три раза в день мясо есть будет.

Проглотив кусок мяса, я улучил момент, поднял голову и, переполненный эмоциями, полными слез глазами с глубокой признательностью глянул на дядюшку Ханя.

– Как, Сяотун, будешь мне сыном? – Он потрепал меня по голове: – Станешь моим сыном, точно будешь есть мясо.

Я решительно кивнул...

Невезучий дядюшка Хань, лежа в канаве и хлопая глазами, смотрел, как мы пробегаем рядом с его мотоциклом. Тот лежал у дерева, мотор еще грохотал, искривленное от удара о ствол колесо еще вращалось, хоть и с трудом: обода со скрежетом терлись о крыло. Слышно было, как он крикнул нам вслед:

– Ян Юйчжэнь, вы в город? Передайте там, чтобы мне приехали помочь...

Думаю, мать даже не разобрала, что крикнул дядюшка Хань. Ею владели, наверное, лишь досада и гнев, а может быть, сожаление и надежда. Я не она, могу лишь догадываться, что у нее на уме. Может, она и сама не понимала, что у нее творится в душе. Помня дядюшкину доброту, когда он угощал меня собачьим мясом, я хотел помочь ему выбраться из канавы, но из руки матери было не вырваться.

Нас быстро обошел велосипедист, казалось, он нас побаивается. Я с первого взгляда узнал его: это Шэнь Ган, который должен нам две тысячи юаней. На самом деле давно уже не две. Он занял их больше двух лет назад под два фэня в месяц, и процент на процент, как говорится, «осел знай себе катается по земле», вот на сегодняшний день уже накопилось на все три тысячи, мать вроде говорила. Я не раз вместе с матерью ходил к нему домой требовать деньги, поначалу он признавал долг и говорил, что скоро изыщет средства и вернет деньги, но потом пошел в отказ, стал, как говорится, изображать дохлую собаку. Вытаращив глаза, он говорил матери:

– Ян Юйчжэнь, я как дохлая свинья, которой кипяток не страшен. Денег нет, а с жизнью жаль расставаться, торговля моя – одни убытки, посмотри, найдешь что ценное – забирай, нет – отправляй меня в полицейский участок, я как раз ищу местечко, где бы поесть.

Мы осмотрели дом, но, кроме котла с налипшей свиной щетиной и старого велосипеда, ничего ценного там не было. Жена его, похоже, тяжело больная, с охами и стонами лежала на кане. Он занял у нас денег в позапрошлом году накануне Праздника весны<sup>27</sup>, сказав, что собирается привезти с юга партию недорогих гуандунских колбасок, а во время праздника продать их с большой выгодой. Одурманенная его красивыми речами, мать дала деньги. Я смотрел, как она достает откуда-то из-за пазухи замасленные купюры, послунив пальцы, отсчитывает одну за другой и несколько раз перепроверяет сумму. Перед тем, как вручить их Шэнь Гану, мать торжественно произнесла:

– Ты, Шэнь Ган, должен понимать, что нам, сироте и вдове, эти деньги достались ох как нелегко.

– Коли не доверяешь, тегушка, не давай, – заявил Шэнь Ган. – Ко мне много кто пристаёт с предложением взять в долг, но я, учитывая ваши невеселые обстоятельства, решил дать подзаработать вам...

Впоследствии он действительно пригнал целый грузовик колбасок и разгружал во дворе упаковку за упаковкой, пока над забором не выросла целая гора. «Шэнь Ган на этот раз разбогатеет!» – говорили в деревне. Держа во рту колбаску, будто сигару, он с довольным видом разглагольствовал перед собравшимися зеваками:

– Ну, теперь удача пошла, только успевай поворачиваться.

Один проходивший мимо Лао Лань вылил на него ушат холодной воды:

– Ты, брат, не очень-то празднуй – надо было заранее договориться с холодильным складом, иначе, как потеплеет, наплачешься.

Тогда холодина стояла страшная, псы, поджав хвост, бегали. Шэнь Ган яростно куснул задубевшую, как мороженое, колбаску и, как ни в чем не бывало, заявил:

---

<sup>27</sup> Праздник весны – китайский Новый год.

– Паршивый из тебя староста, Лао Лань, совсем не хочешь, чтобы народ в деревне богател, что ли? Вот буду с прибылью, сделаю тебе подношение.

На что Лао Лань отвечал:

– Не надо мою доброжелательность принимать за злодейство, Шэнь Ган. Прежде всего не спешి праздновать победу – ты, паршивец, еще слезно умолять меня будешь! Вообще-то управляющий холодильным складом в городе – мой названный брат.

– Благодарствую, премного благодарствую, – ерничал Шэнь Ган. – Пусть мои колбаски скорее сгниют к чертям собачьим, чем пойду к тебе на поклон.

– Ну что ж, – ухмыльнулся Лао Лань, – гнешь свою линию, так гни! Мы в семье Лань таких уважаем, раньше, когда мы были побогаче, каждый Новый год ставили за воротами два чана: один с мукой, другой с рисом, – и все, кому по бедности нечем было справлять Новый год, могли приходиться и брать рис и муку. Лишь один нищий, а это был дед Ло Туна, бедняк из бедняков, вставал у наших ворот и выкрикивал имя моего деда: «Лань Жун, а Лань Жун, я скорее сдохну, чем притронусь хоть к одной рисинке твоей семьи!» Дед собрал всех моих дядьев и сказал: «Все слышали, как он за воротами кроет нас на всю улицу, настоящий смельчак! Кого угодно можете обидеть, но не его, встретите – опустите перед ним голову и поклонитесь в пояс!»

– Будет, Лао Лань, – прервал его Шэнь Ган. – Не надо хвалиться славой своих предков.

– Извини уж, никуда не годный потомок, – съязвил Лао Лань. – Никак не забуду славы предков, а тебе желаю разбогатеть.

Потом все и впрямь сложилось неудачно, точь-в-точь, как говорил Лао Лань: новогодние праздники еще продолжались, как вдруг, против обыкновения, задул теплый юго-восточный ветер, и даже ветки ив зазеленели. Холодильный склад в городе был забит под завязку, и места для Шэнь Гана не осталось. Он вытаскивал упаковку за упаковкой на улицу и с мегафоном в руке чуть ли не слезно зывал: «Почтенные земляки, братья, помогите в беде, возьмите по упаковке колбасок, съешьте, заплатите, сколько пожелаете, а не заплатите, считайте, это мое вам почтительное подношение». Но никто за этими колбасками, которые уже превратились в безутешное горе и протухшие кишки<sup>28</sup>, не приходил. Вонь не смущала лишь бездомных собак – они разгрызали упаковки, набивали полный рот колбасок и разносили их по всей деревне, и в результате на каждом углу проходило пиршество, а к тошнотворным запахам, которыми уже пропиталась деревня мясников, добавилась еще одна странная вонь. Да, тот Новый год бродячие собаки провели весело. С того самого дня, когда в деревне запахло протухшими колбасками, мать и стала приходиться вместе со мной за долгом, но он и по сей день не возвращен...

Но то, что отец снова ушел, было важнее, чем требовать деньги у Шэнь Гана, поэтому мать лишь с ненавистью зыркнула на него, не сказав ни слова. На багажнике велосипеда Шэнь Гана я заметил продолговатую засаленную коробку из жести. От нее шел такой аромат, что у меня слюнки потекли. По запаху я тут же определил, что в ней: поджаренная в соевом соусе свиная голова, вернее, часть верхней челюсти с пяточком, а также вареные потроха. В воображении высветились чарующий цвет свиной головы и ножек, а также изгибы толстой и тонкой кишки, и рот невольно наполнился слюной. Хоть этим ранним утром в нашем доме и произошло важное событие, это никак не отменяло, а даже усилило мое страстное желание поесть мяса. Небо и земля велики, но куда им до разинутого рта Лао Ланя; отец и мать – близкие люди, но мясо мне куда ближе! Ах, мясо, мясо, самое прекрасное, что есть на земле, самое притягательное, вот, казалось бы, сегодня я мог бы наесться тебя вволю, но отец ушел во второй раз, радужные надежды рухнули или, по крайней мере, отложены, хорошо, если только отложены.

Свиная голова в руке у матери; если отец сможет вернуться, у меня будет возможность полакомиться ею. Если же он решил не возвращаться и мать разозлится, все же приготовит ли

---

<sup>28</sup> Игра слов: в словах «колбаса», «безутешное горе» и «протухшие кишки» присутствует иероглиф «чан» – кишки, нутро.

она ее и даст мне или продаст, и рано я радовался? Поистине я никуда не гожусь, мудрейший, только что ведь переживал о том, что отец ушел во второй раз, но стоило мне учуять запах мяса, как сразу все мысли только о нем. Я знаю, такие, как я, заведомо ни на что не годны: родись я в годы революции и окажись на свою беду офицером в лагере врага, бойцам революции нужно было бы лишь предложить мне миску мяса, и я, не раздумывая, повел бы свой отряд сдаваться. И наоборот, если бы враги предложили мне две миски, я мог бы повернуть отряд обратно. Это тогда у меня были такие мысли ограниченные, впоследствии в жизни моей семьи произошли крупные перемены, и лишь когда я смог есть мяса вволю, стало ясно, что в мире есть много чего более важного.

Мимо проехал еще один человек на велосипеде, он обернулся и окликнул:

– Эй, почтенная Ян, куда спешишь? Свиную голову продавать?

Этого человека я тоже знал. Он занимался тем, что жарил свинину. Из закрепленной у него на багажнике жестяной коробки разносился вкусный запах. Это был шурин Лао Ланя по имени Сучжоу, так его звали в детстве, а как его звали в школе, не помню. Может, раз его детское имя было такое звучное, я нарочно забыл школьное. Сучжоу, Сучжоу – долго думали его родители, перед тем как выбрать такое имечко. Он один из немногих в нашей деревне не занимался забоем скота, говорили, что он исповедует буддизм, сохраняет жизнь всякой живой твари, а вот ливер жарил и продавал. Губы и щеки день-деньской лоснятся от жира, запахом мяса пропитан с головы до ног, с виду и не скажешь, что буддист. Мне было известно, что при готовке мяса он добавлял краситель и формальдегид, поэтому его стряпня, как и у Шэнь Гана, отличалась сочным цветом и необычным ароматом. Говорят, эти вещи вредны для здоровья, но по мне так лучше есть эти вредности, чем безвредные редьку и капусту. У меня этот человек числился в хороших. Шурина Лао Ланя – а зятя с шуринами обычно заодно, вместе делишки обделывают, – с ним он не очень ладил. Лао Лань у нас в деревне был местным царьком, все безуспешно старались лебезить перед ним и Сучжоу считали чудачком. Он часто говаривал одну фразу: «На добро и зло всегда есть воздаяние». Увидит взрослых – говорит взрослым, встретит детей – детям, а когда никого нет вокруг, говорит сам себе. Он крутил педали и кричал, повернувшись вполборота:

– Почтенная Ян, коли хочешь продать голову, не надо на рынок спешить, продай мне, и все дела, какая цена на рынке, такую и заплачу. На добро и зло всегда есть воздаяние!

Не обращая на него внимания, мать бежала дальше, увлекая меня за собой. Я заметил, что из-за встречного ветра велосипед Сучжоу вихлял из стороны в сторону, и всякий раз, когда он нажимал на педаль, казалось, что он везет многокилограммовый груз. Под ветром шелестели ветви придорожных тополей. Возможно, из-за ветра и сумрачности небес солнце, уже поднявшееся в два раза выше деревьев, было таким же багровым, огромным и словно стреляло лучами. На выбеленной ветром дороге то и дело попадались высохшие коровьи лепешки. Крестьянствовать у нас в деревне уже никто не крестьянствовал, большие участки земли оставались заброшенными, коров никто не держал, значит, эти лепешки – следы торговцев с западного края, тайком прогонявших через деревню свою скотину. Эти лепешки напомнили мне славные времена, когда я с отцом ходил оценивать скот, напомнили пленительный аромат мяса. Сглотнув слюну, я глянул на струйки пота, текущие по лицу матери. От этих струек, возможно, смешавшихся со слезами, намок весь воротник свитера, который она только что надела. Эх, Ян Юйчжэнь, и ненавижу тебя, и сочувствую! Тут я не мог удержаться, чтобы не вспомнить ярко-красное лицо тети Дикой Мулихи, по форме напоминающее утиное яйцо. Черные брови, соединяющиеся на переносице, под ними глаза с еле видными белками, выдающийся заостренный нос и вытянутые губы. Выражение лица все время напоминало мне какого-то животного, но неясно, которого именно. Только потом, когда в нашу деревню забрел продавец лис и передо мной мелькнула морда этой лисицы, запертой, как кролик, в клетке, этот вопрос неожиданно разрешился.

Всякий раз, когда отец приходил к тете Дикой Мулихе, она с улыбкой вручала мне кусок горячей говядины или свинины и дружески говорила: «Ешь, ешь вволю, съешь – еще дам!» Мне казалось, что за этой ее усмешкой кроется что-то нечестное и плохое, будто она хотела подбить меня на что-то нехорошее, а потом полюбоваться на это. Но она мне нравилась. Я уже не говорю о том, что она не заставляла меня делать что-то плохое, ну а если бы и заставила, я пошел бы на это, не задумываясь. Потом я собственными глазами видел, как отец обнимался с ней, правду говорю, мудрейший, и в душе был счастлив и растроган, даже слезы на глаза выступили. Тогда я еще не мог разбираться в отношениях мужчины и женщины. Меня страшно озадачило, когда отец и Дикая Мулиха крепко прижались друг к другу губами, да еще причмокивая, будто желая втянуть в себя и действительно втягивая изо рта другого какую-то вкусную жидкость. Сейчас я, конечно, знаю, что это называется «лизаться», а по-культурному – «целоваться». Тогда я не ведал вкуса поцелуя, но, судя по выражениям их лиц и движениям, догадался, что это нечто очень волнующее, а может, и мучительное, потому что во время этого их безумного поцелуя в глазах тети Дикой Мулихи стояли слезы.

Силы матери явно подходили к концу. После того, как Сучжоу обогнал нас, она стала передвигать ноги медленнее. Естественно, не так быстро стал переставлять ноги и я. Она замедлила бег не потому, что какие-то препятствия возникли у нее в душе, нет, у нее в душе вообще никаких препятствий не было, ее замысел догнать отца на станции и вернуть не претерпел никаких изменений, за это я ручаюсь, потому что она – моя мать, я ее прекрасно понимаю, стоит мне глянуть ей в лицо, услышать одно ее дыхание, и я уже знаю, о чем она думает. Главной причиной того, что она неслась не так быстро, стало то, что силы у нее были на исходе. Поднялась засветло, развела огонь и приготовила еду, нагрузила мотоблок, при этом нужно было, пользуясь морозной погодой, облить водой листы картона, потом последовала похожая на драму взволнованная встреча с отцом после долгой разлуки, затем она отправилась покупать свиную голову и даже, как я подозреваю, приняла серную ванну в общественной бане, недавно открытой у нас в деревне при горячем источнике, потому что, увидев ее в створе ворот, я почуял исходивший от нее запах серы. Лицо раскрасневшееся, дышащее бодростью, еще влажные волосы блестели – все говорило о том, что она приняла ванну. Она действительно вернулась исполненной счастья и надежды, и то, что отец ушел снова, стало для нее громом среди ясного неба, ушатом ледяной воды, от которого она похолодела с головы до ног. Получи такой неожиданный удар любая другая женщина, она застыла бы на месте и разразилась рыданиями, но моя мать лишь на миг замерла с выпученными глазами и тут же пришла в себя. Она понимала, что для нее важнее всего не падать на землю, притворяясь мертвой, и тем более не сидеть на земле в рыданиях, размазывая слезы, а как можно быстрее добраться до станции и до отхода поезда задержать этого хоть и не имеющего ни кола ни двора, но не утратившего твердости мужчину. Через какое-то время после ухода отца она неизвестно где подхватила фразу: «Москва слезам не верит!» И с тех пор это любимое присловье всегда было у нее на устах. Это ее «Москва слезам не верит» и «На добро и зло всегда есть воздаяние» товарища Сучжоу, как парное изречение дуйлянь<sup>29</sup>, получили в деревне широкое распространение. То, что мать не забывала эту фразу, говорило о том, что она прониклась этим очень глубоко, какой смысл лить слезы в критический момент, «Москва слезам не верит» – не верит слезам и деревня мясников, надо менять положение дел, только работать, только действовать.

Запахавшись, мы стояли перед большой дверью станционного зала ожидания. Станция была маленькая, расположенная не на основной ветке, и здесь останавливались немногие пассажирско-грузовые нескорые поезда. На чисто выметенном ветрами пустом пространстве за большой дверью зала ожидания стоял щит агитации и пропаганды с остатками лозунгов и начертанными мелом рукой скрытого врага реакционными призывами, которые в основном

<sup>29</sup> Дуйлянь – доброжелательные парные надписи.

поносили местных руководителей партии и правительства. Перед щитом на корточках устроилась торговка жареным арахисом в темно-красном шарфе и сероватой маске, из-под которых виднелись одни вороватые глаза. Рядом с ней, скрестив руки на груди, стоял мужчина скучающего вида с сигаретой в зубах, он держал перед собой велосипед с жестяным тазом, обтянутым марлей, из которого пахло мясом. Это был не Шэнь Ган и не Сучжоу, эти-то куда делись? Или их прекрасные на вкус и цвет мясные яства уже очутились в чьем-то желудке? Откуда мне знать! По запаху я сразу определил, что за мясо у этого человека в тазике – говядина и говяжьи потроха, но с солидным добавлением красителя и формальдегида, благодаря которым пахло от мяса исключительно вкусно. Мне так и хотелось взглядом, как рыболовным крючком, искоса поддеть из этого тазика кусок мяса или потрохов, но мать тащила меня за собой, и, в конце концов, я оказался перед дверьми в зал ожидания.

Двери на пружинах, каких было немало несколько десятилетий тому назад, приходилось тянуть на себя изо всех сил, при этом они страшно скрипели, а стоило отпустить руку, они мгновенно спружинивали назад, и если ты в это время не успеваешь покинуть зону их действия, то мог получить тяжелый удар по заду и в лучшем случае споткнуться, а то и шлепнуться на карачки, как собака за куском дерьма. Я оттянул двери и пропустил мать. Потом проскользнул и сам до того, как они спружинили, выскочил на середину зала ожидания, и коварный план дверей хлопнуть меня по заду закончился провалом.

И я тут же увидел отца с его милой дочкой от тети Дикой Мулихи – моей младшей сестренкой. Слава небу, они еще не уехали.

Какой-то незнакомец швырнул через ворота пропитанный кровью, вонючий армейский китель, и он упал между мной и мудрейшим. Я изумленно уставился на этот неблагоприятный объект, не зная, что и подумать. На нем зияли дыры размером с медную монету, к бьющему в нос запаху крови тонкими нитями, словно отзвуки минувшего, примешивались запахи пороха и пудры. Я заметил выглядывающий из кармана белоснежный, возможно, шелковый шарф. Обуреваемый любопытством, я протянул к нему палец, но с неба обрушились куски глины и гнилого тростникового настила крыши, которые вместе с полетевшими вслед кусками черепицы засыпали этот ком окровавленной одежды между мной и мудрейшим и вмиг образовали небольшой могильный холмик. Я задрал голову и глянул на крышу храма, в кромешной темноте которой открылось светлое отверстие. Испугавшись, что этот храм, почти преданный людьми забвению, может обрушиться, я заерзал, но мудрейший даже не пошевелился, его дыхание было едва слышно. Дымка на улице уже рассеялась, землю осветили яркие лучи солнца, во дворе уже не чувствовалась сырость. Шелестели сияющие и лоснящиеся под солнцем листья гинкго. Во дворе появился высокий детина: оранжевый кожаный пиджак, шерстяные армейские брюки цвета хаки, высокие ярко-красные кожаные сапоги, ровный пробор, круглые темные очки и толстая сигара в зубах.

## Хлопущка тринадцатая

Держался он прямо, кожа смуглая с красноватым оттенком, и я сразу вспомнил, что так выглядели американские офицеры в кино, отважные сумасброды. Но это был не американский офицер, а стопроцентный китаец. К тому же, когда он открыл рот, я сразу понял, что он наш, местный. Он изъяснялся на том же диалекте, что и я, но по тому, как он был одет и как двигался, было ясно, что происхождение его окутано тайной и личность это незаурядная. Одним словом, это был человек, много чего повидавший. По сравнению с ним Лао Лань – величина в нашей деревне – был завзятая деревенщина. (Тут я словно услышал голос Лао Ланя: «Я знаю, эти городские мелкие буржуйчики презирают нас, считают деревенщиной. Хм, но что есть деревенщина? Мой третий дядюшка был летчиком в Национальной армии, закадычным приятелем Шеннолта, командира «Летающих тигров»<sup>30</sup>. Когда большинство китайцев еще не знали, где на земном шаре находится Америка, мой третий дядюшка уже крутил любовь с американской барышней, ну и кто посмеет сказать, что я – деревенщина!») Он вошел в ворота храма, усмехнулся, и на лице его появилось шаловливое, как у ребенка, выражение. Из-за этого мне показалось, что мы знакомы и близки. Тут он расстегнул ширинку, повернулся к воротам и начал с журчанием мочиться. Брызги попадали даже на мои голые ноги. Этой своей дубинкой он вполне мог сравниться с Духом Лошади за спиной мудрейшего. Мне казалось, он издевается над нами, но мудрейший даже не шевельнулся, на лице у него даже появилась едва заметная усмешка. Лицо мудрейшего было обращено прямо на дубинку этого человека, а я лишь косился на нее. Если тот, у кого все прямо перед глазами, не возмущается, чего возмущаться мне, смотрящему на это искоса? Возможности мочевого пузыря у этого типа, видать, немаленькие, такое количество мочи небольшое деревце скроет. Ее большая часть скопилась в пенную, как пиво, лужу, которая, разлившись, окружила коврик мудрейшего. Закончив свои дела, он презрительно отряхнулся и, увидев, что мы не обращаем на него внимания, повернулся к нам спиной, распростер руки, выпятил грудь и издал глухой рев. Я обратил внимание, как солнце просвечивает его правое ухо, розовое как лепесток пиона. Появилась стайка женщин, будто только что со светского приема тридцатых годов, в ципао<sup>31</sup>, прекрасно сидящих на прелестных фигурах, с завивкой крупными и мелкими локонами, они сверкали драгоценностями, свободно двигались, и в их постоянно меняющихся выражениях лица читалась элегантность, которая недоступна современной женщине. Вдыхая исходящий от них запах старины и высокого положения, я невольно расчувствовался. Казалось, меня и этих женщин связывает далекое родство. Щебеча, как птички с пестрым оперением, они окружили этого типа в кожаном пиджаке с прозрачными ушами. Одни дергали его за рукав, другие вцепились в пояс, третьи исподтишка щипали его за бедро, кто-то опускал ему в карман записочки, кто-то совал ему в рот конфеты. Среди них одна с виду очень скандальная, неопределенного возраста, ее губы были накрашены серебристой помадой, на груди белоснежного шелкового ципао вышита красная ветка мэйхуа<sup>32</sup>, отчего на первый взгляд казалось, что женщина ранена, но еще не успела умереть. Ее груди выступали, как голубки, у нее был очень чувственный вид; женщина подошла и, поднявшись на цыпочки так, что высокие каблуки оторвались от покрытой грязью земли, схватила этого типа за большое ухо и слегка хриплым сладким голоском начала крыть его:

– Ах ты, пашенок Сяо Лань, собачье отродье, свинья неблагодарная!

Этот Сяо Лань делано завопил:

<sup>30</sup> Клэр Ли Шеннолт (1893–1958) – генерал-лейтенант ВВС США. Во время Второй мировой войны командовал в Китае авиаэскадрилей «Летающие тигры», в которой воевали американские добровольцы.

<sup>31</sup> Облегающее длинное женское платье с плотным запахом, воротником-стойкой и разрезами по бокам.

<sup>32</sup> Слива мэйхуа – зимний цветок, один из «четырёх благородных» растений Китая.

– Ой, названная матушка, к кому угодно осмелюсь быть неблагодарным, но только не к вам!

– Ты еще перечить смеешь!

Женщина тряхнула за ухо посильнее, и мужчина, свесив голову набок, запросил пощады:

– Названная матушка, милая, не так сильно, Сяо Лань больше не посмеет, Сяо Лань приглашает названую матушку перекусить, только простите, ладно?

Женщина отпустила ухо и со злостью проговорила:

– Я каждый твой шаг как свои пять пальцев знаю, только посмей хитрить со мной – враз все хозяйство тебе отчекрыжу, сукин сын.

Делано прикрыв мотню, мужчина завопил:

– Пощади, названная матушка, ведь Сяо Ланю этим сокровищем еще род продолжать.

– Мамкину ляжку тебе продолжать, – выругалась женщина. – Но перед лицом моих сестер даю тебе возможность искупить свою вину, куда ты собираешься пригласить нас на ужин? Как насчет «На небесах среди людей»?

– Нет, туда не пойдем, у них недавно появился охранник-иностранец, от него чем-то так несет, я как нюхнула, так меня чуть не вырвало, – заявила большеглазая женщина с острым подбородком. На ней было пурпурное ципао в мелкий цветочек, волосы перехвачены пурпурной лентой, косметика едва заметна, она имела культурный и утонченный вид и походила на василек.

– Тогда послушаем, что скажет барышня Юй, – вмешалась полная женщина в желтом ципао, которое, казалось, вот-вот разойдется по швам. – Она с Сяо Ланем во всех городских ресторанчиках бывала и, конечно, прекрасно знает, где хорошо готовят.

Барышня Юй презрительно скривила рот, но с деланным смешком сказала:

– Вы не считаете, госпожа Шэнь, что лучшим выбором будет суп из акульих плавников в «Императорском поместье»? – обратилась она к даме со светскими манерами, которая недавно выворачивала ухо Сяо Ланю.

– Раз барышня Юй так говорит, пойдем в «Императорское поместье», – безразлично заявила та.

– Тогда вперед! – взмахнул руками мужчина в коже. Обступив его, женщины направились со двора, а он взялся за округлые ягодицы двух из них. В один миг они исчезли, оставив за собой ароматы, которые вместе с вонью мужской мочи смешивались в престраннейший запах. На улице взревел мотор, и автомобиль тронулся. В храме и во дворе вновь наступила тишина, и я, взглянув на мудрейшего, понял, что от меня требуется продолжить рассказ. «Если у чего-то есть начало, то должен быть и конец». И я заговорил:

Народу в небольшом зале ожидания было немного, и из-за этого он казался очень просторным. Отец с дочкой прижались друг к другу на скамье рядом с печкой в центре зала, вокруг тут и там сидели еще человек десять, ожидавших поезда. Отец опустил голову, и его волосы серебрились в солнечных лучах, проникавших через замызганное оконное стекло. Он курил, от лица поднимался сизый дымок, кольца которого долго висели у него над макушкой, словно дым не вылетал изо рта, а сочился из головы. Этот вонючий дым напоминал запах горелого тряпья и старой кожи. Отец уже опустился до того, что подбирал брошенные на обочине окурки, как нищий. Даже хуже, чем нищий. Насколько мне известно, некоторые нищие ведут разгульную и развратную жизнь, полную расточительства, курят фирменные сигареты, пьют заморские вина, днем одеваются в тряпье и побираются на улицах, а к вечеру переодеваются в европейские костюмы и ботинки и отправляются в караоке-бары попеть и с девицами поразвлечься. У нас в деревне таким нищим высокого пошиба был Юань Седьмой. Он побывал во всех крупных городах страны, много чего повидал и имел богатый жизненный опыт, умел точно имитировать десяток с лишним местных диалектов, даже знал, как сказать пару фраз по-русски; как раскроет рот, сразу ясно, что человек незаурядный, к нему с некоторым благоговением отно-

силса даже такой безусловный авторитет, как наш староста Лао Лань, который не осмеливался важничать в его присутствии. Дома у него была жена благопристойного вида, сын, блиставший успехами в начальной средней школе; как он сам говорил, у него в каждом из десяти с лишним городов было по семье, и, кочуя из одного в другой, он вел счастливую семейную жизнь. Ел Юань Седьмой трепангов и морские ушки, пил «маотай» и «улянъе»<sup>33</sup>, курил «юйси» и длинные «чжунхуа»! Жизнь такого нищего на жизнь начальника уезда не променяешь! Стань отец таким нищим, был бы гордостью нашей семьи. К сожалению, он дошел до крайней степени нищеты и опустилса до того, что подбирал брошенные на обочине окурки.

В зале ожидания было тепло и всё как во сне. Ожидающие поезда в основном сидели, свесив голову на грудь, как сонные курицы, перед каждым – большой или маленький тюк или туго набитый клетчатый баул. Не похожи на куриц были лишь двое мужчин, никакой клади перед ними, лишь две истертые до белизны по краям черные сумки из искусственной кожи у ног. Они сидели, наклонившись друг к другу, лицом к лицу. Между ними на газете лежала кучка нарезанных полосками огненно-красных и бледных свиных ушей, от них немного попыхивало, но в целом это был запах мяса. Я понял, что это мясо дохлых свиней, то есть подохших от какой-нибудь болезни, которое потом обрабатывали, чтобы придать ему привлекательный вид. У нас здесь, будь то чума свиней, рожистое воспаление или ящур, все можно было обработать, чтобы получился прекрасный на вид продукт. «Алчность не преступление, страшное преступление – пустая трата денег» – это реакционное суждение принадлежит нашему деревенскому старосте Лао Ланю, расстрелять бы за эти слова ублюдка. Они ели под водку, водка местная – «Благородный Лю». Вы спросите, кто такой этот благородный Лю? Понятия не имею. Знаю лишь, что этот благородный Лю водку не производит, славным именем его семьи незаконно пользуются потомки. Запах этой водки аж с ног валит, куда ей до настоящей – очень может быть, что ее метиловым спиртом разбодяжили. Эх, метиловый спирт, ах, формальдегид, все китайцы стали химиками, метиловый спирт с формальдегидом – это же золотое дно! Я сплюнул, глядя, как переходит из рук в руки зеленоватая бутылка, как они по-детски причмокивают, хватая в перерывах между глотками полоски уха (не палочками – руками) и запикивают в рот. Один из них, с тощим лицом, нарочно задирает голову, роняя полоски мяса в рот, будто специально, чтобы я позавидовал. Вот ведь негодяй, злыдня, еще и дразнится, судя по всему, сигаретами торгует или скот крадет, в общем, не из добрых людей – по лицу видно. Подумаешь, пьют и мясо едят! Если бы мы у себя дома захотели поесть, еще не такой бы пир устроили. Мы в деревне мясников умеем отличать мясо дохлой свиньи от мяса живой, вот уж не стали бы, как они, с таким аппетитом уписывать дохлятину. Ясное дело, когда нет мяса живой свиньи, можно съесть немного и мяса дохлой. Лао Лань говорил, что китайский народ отличается способностью переваривать всякую гниль. Я бросил взгляд на свиную голову в руке матери и сплюнул.

Отец словно почувствовал, что перед ним кто-то стоит, но, наверное, и предположить не мог, кто именно. Он поднял голову, немного покраснел и обнажил свои желтые зубы, видно было, что ему неловко. Его дочка, моя сестренка Цзяоцзяо, которая спала, приткнувшись к нему, тоже поднялась. Заспанные глазки на порозовевшем личике – такая милая. Она прижалась к отцу и тайком поглядывала на нас у него из-под мышки.

Мать делано кашлянула.

Отец тоже кашлянул.

Кашлянула и Цзяоцзяо, ее личико зарделось еще больше.

Я понимал, что она простужена.

Отец похлопал Цзяоцзяо по спине грубой ручищей, чтобы помочь избавиться от кашля.

Цзяоцзяо выплюнула мокроту, а потом захныкала.

<sup>33</sup> Сорта дорогой водки, которые считаются лучшими в Китае.

Мать передала свиную голову мне и наклонилась, чтобы обнять девочку. Та аж взвизгнула и еще плотнее уткнулась под мышку к отцу, чтобы спрятаться от матери, будто на ее руках были шипы, словно она была торговкой детьми. В нашей деревне торговли детьми появлялись нередко, потому что у нас народ был при деньгах. Не то чтобы они ташили с собой детей или гнали связанных женщин, действовали они хитро и выдавали себя за торговцев расческами и густыми гребешками для вычесывания грязи из волос. Язык у них был подвешен, и актеры они были превосходные, и шуточки отпускали, и рассказывали интересно: одна, чтобы продемонстрировать качество гребня, на наших глазах перерезала им кожаный ботинок.

Мать выпрямилась, отступила на шаг, потирая руки на уровне груди, оглянулась по сторонам, словно ища помощи, повернулась ко мне секунды на три, а потом ее взгляд потерял сосредоточенность. От беспомощного выражения на лице матери душа заныла, родная мать все-таки. Она перестала потирать руки, опустила голову, уставясь в пол, а может быть, на отцовы сапоги – заляпанные грязью, но такие же щегольские. Это было единственное, что на нем осталось в напоминание о былой роскоши. Мать негромко заговорила, словно сама с собой:

– Утром я жестокостей наговорила... Холод на улице, уработалась, не в духе была... Пришла вот просить прощения...

Отец суматошно передернулся, словно у него завелись вши, замахал руками и, запинаясь, сказал:

– Ну вот не надо так говорить, ругалась ты по делу, ругалась крепко. Если разгневалась, то тебе не следует просить прощения, это я...

Мать взяла у меня свиную голову и подмигнула:

– Ну чего стоишь, как остолоп? Помогии отцу нести вещи и пошли домой!

Свирепо глянув на меня, она повернулась и пошла к дверям. Старинные двери заскрипели пружинами, белоснежная свиная голова мелькнула и исчезла. Я слышал, как, открывая двери, мать в сердцах выругалась:

– Проклятушие двери...

Я одним прыжком подскочил к отцу и ухватился за набитую холстинную сумку. Отец взялся за наплечные ремни сумки и посмотрел мне в глаза:

– Сяотун, возвращайся с матерью домой и живите счастливо, я не хочу быть вам обузой...

– Нет, – потянул я к себе сумку, – пап, я хочу, чтобы ты вернулся!

– Отпусти, – строго сказал отец, но выражение лица тотчас сделалось унылым. – Человеку честь, что дереву кора, сынок. Хоть и опустился до такого положения, но я все же мужчина, мать твоя верно сказала, добрый конь на старый выпас не возвращается...

– Но ведь мать уже извинилась перед тобой...

Отец был мрачен.

– Знаешь, сынок, человеку страшно, когда ранят душу, дереву страшно, когда повредят корни... – С небольшим усилием отец вырвал сумку у меня из рук, потом махнул рукой в сторону дверей. – Иди давай, слушайся мать и будь почтительным сыном...

Глаза тотчас стали полны слез, и я всхлипнул:

– Пап, мы правда тебе не нужны?..

У отца тоже навернулись слезы:

– Нет, сынок, дело не в этом, ты же умница, должен все понимать...

– Нет, я не понимаю!

– Ступай, – отрезал отец. – Ступай, не надо докучать мне! – Он подхватил сумку, поставил на ноги Цзяоцзяо, оглянулся по сторонам, будто подыскивая место поспокойнее. Окружающие с любопытством посматривали на нас, а отец, не обращая ни на кого внимания, взял Цзяоцзяо под мышку и перебрался на разбитую скамейку у окна. Перед тем, как сесть, он уставился на меня, вращая глазами, и сердито рыкнул: – Ты еще здесь?!

Я опасливо отступил на шаг. На моей памяти отец никогда еще так злобно не обращался со мной. Я обернулся к большим дверям в надежде, что смогу получить оттуда указание от матери, но двери были закрыты в полном равнодушии, лишь через щель задувал ветер, который нес маленькие снежинки.

Из боковой комнаты зала ожидания вышла женщина средних лет в синей форме, фуражке, с красным мегафоном в руке и выкрикнула:

– Проверка билетов, проверка билетов, пассажиры поезда 384 на Дунбэй в очередь для проверки билетов!

Вокруг все вскочили, закинули на плечи малые и большие узлы и, как пчелиный рой, столпились у окошка регистрации. Двое пивших водку скоренько допили остатки, доели все свиные уши на газете и, вытирая жирные губы и сыто порыгивая, вперевалячку направились к окошку. Отец с Цзяоцзяо на руках пристроился за этими двумя пахнущими водкой приятелями.

Я не отрывал глаз от фигуры отца в надежде, что он обернется и посмотрит на меня. В душе по-прежнему таилось несбыточное, я не верил, что отец может вот так окончательно расстаться с нами и уйти. Но он так и не обернулся, его замызганное старое пальто поблескивало на спине, словно обледенелая стена у дома мясника. Лишь сидевшая у него на руках Цзяоцзяо выглядывала из-за плеча и тайком смотрела на меня. Калитка от окошка на платформу была еще закрыта, около нее, скрестив руки на груди, молча стояла та женщина в форме.

Издали донеслось громыхание поезда, пол под ногами задрожал. Когда раздался свисток, я увидел через стальное ограждение, как на станцию вползает старинный паровоз с составом, варварски изрыгая густые клубы черного дыма.

Женщина в форме открыла калитку и стала проверять билеты. Толпа повалила вперед, как с трудом проходит в горло плохо прожеванное мясо. В одно мгновение перед контролером очутился и отец. Я понимал: это всё, сейчас он пройдет через калитку и навсегда исчезнет из моей жизни.

Когда отец передавал контролеру мятый билет, я встал метрах в пяти от него и закричал, что есть мочи:

– Пап!

Отец дернул плечами, словно в спину ему угодила пуля. Со стороны калитки налетел порыв северного ветра, несущего снежинки, и закружил вокруг него, будто вокруг засохшего дерева.

Контролер смерила отца подозрительным взглядом, затем со странным выражением оглядела и меня. Прищурившись, она вертела поданный отцом билет и так и сяк, словно поддельный.

Вспоминая потом об этом, я не мог припомнить, каким образом мать очутилась передо мной, а отец сзади. В левой руке она по-прежнему держала белую с красными потеками свиную голову, а правую выставила вперед, точно важная персона, свободно вещающая о важных делах, указывая на ослепительно сверкающую спину отца. Не знаю также, когда мать успела расстегнуть пуговицы голубой вельветовой куртки, из-под которой виднелся ярко-красный, как раскаленный уголь, свитер из синтетики с высоким воротником. Мать походила на некую героиню и до сих пор ярко остается такой в моей памяти, и стоит вспомнить об этом, грудь полнится самыми разными чувствами. Тыча пальцем в спину отца, мать разразилась визгливыми ругательствами:

– Ло Тун, сукин ты сын! Взял вот так и смылся, кто ты такой, мать твою, после этого?!

Если мой крик подействовал на отца, как выстрел в спину, то брань матери изрешетила ему спину, как пулеметной очередью. Я видел, как его плечи задрожали, а голова моей сестренки, которая все время тайком поглядывала своими черными глазками с длинными ресницами, тут же скрылась.

Контролер подняла компостер, делано пробила дырку в билете отца, а потом таким же деланым движением подала билет ему в руки. На платформу, как навозные жуки, скатывались приехавшие пассажиры, а те, кто собирался сесть в поезд, волнуясь, ожидали по обе стороны от входа в вагон. По лицу контролера разлилась натянутая улыбка, скривив рот, она посмотрела на мать, на меня, на отца. Видеть она могла лишь его лицо.

Отец с трудом продвинулся вперед, висевшая на плече матерчатая сумка с привязанной красной кружкой соскользнула, и он невольно скособочился, чтобы поправить на плече лямку. Мать, не теряя времени, выпаливала смертоносные очереди слов, сопровождая их яростными жестами:

– Уезжай, уезжай, кто ты такой после этого, мать твою! Будь у тебя воля, жил бы почестному, зачем надо было сбегать со своей бабой вонючей? Будь у тебя воля, зачем нужно было возвращаться? А если вернулся, с какой стати нужно было еще извиняться перед женой? Сказала тебе пару слов, а ты уже и вынести не можешь? А ты не задумывался, как мы вдвоем жили все эти годы? Не понимаешь, сколько нечеловеческих страданий вынесли? Скотина ты, Ло Тун, бессовестная, любая женщина обречена, попав к тебе в руки...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.